

[Polaris]

Вивиан Итин



КААН-
КЭРЭДЭ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CVI



Salamandra P.V.V.

**Вивиан
ИТИН**

КААН- КЭРЭДЭ

Избранные произведения
Том III

Salamandra P.V.V.

Итин В. А.

Каан-Кэрэдэ (Избранные произведения. Т. III). – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2015. – 182 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CVI).

В третий том избранных произведений видного сибирского прозаика, поэта и одного из зачинателей советской научной фантастики В. Итина (1894-1938) вошла повесть (или, по авторскому определению, «поэма») об авиаторах «Каан-Кэрэдэ», авиационно-приключенческий рассказ «Люди», воспоминания об Итине поэта Л. Мартынова, биографический очерк дочери писателя Л. Итиной и другие материалы.

© Authors, 2015

© Salamandra P.V.V., состав, примечания, оформление, 2015

КААН- КЭРЭДЭ

Поэма

I. Голубой зов

Через океан летели ночью — чтобы рассвет настиг самолеты экспедиции у берегов Нового Света. Пилот вспомнил отрывок рассказа одного из первых, перепрыгнувших Атлантик. — —

...На закате солнца аэроплан-амфибия, «виккерс-вимми», вылетел из Нью-Фаундлэнда в Ирландию. Через полчаса «виккерс-вимми» влетел в туман, поднявшийся с океана и в ночь, приведшую с востока. Авиатор ничего не видел, кроме рычагов рулей и стрелок приборов. За бортом кабины, в течение многих часов, был первозданный хаос. И авиатором овладела мысль, с которой он не мог справиться: а что если на самом деле ничего нет и сам он только странный дух мглы и бури? Тогда он бросил аэроплан вниз, туда, где в хаосе должна была появиться первая кора мира, и вдруг под колесами машины, близко-близко, увидел вспененный гребень атлантической волны. Авиатор едва не погиб, но воля и спокойствие мгновенно вернулись к нему; теперь он мог лететь дальше, до конца победы, с новым запасом сил, как Антей, коснувшийся земли...

Пилот экспедиции улыбнулся. Как давно это было! В сущности так же давно, как путешествие Колумба, плывшего через океан 2 месяца и 9 дней, вместо теперешних 9 часов. Вокруг самолета был хаос, туман, ночь. Пилот прочел радиogramму: погода над каменным Мангаттаном была ясная. Аэроплан стремился вперед непоколебимо, как буря. Пилот взглянул на приборы. Альтиметр показывал 4000, горючее и смазка расходовались нормально. Три двухсот-сильных мотора наполняли мир своим чрезмерным грохотом. Рев их был ровен, непреложен и груб. Им было все равно, какое дно расстилается под струями воздушных путей.

За рулями неподвижно сидел борт-механик. В пассажирской каюте спокойно спали двое остальных. Пилот вынул блокнот, чтобы еще раз проверить кривую сноса, показал борт-механику нужное деление буссоли. Потом он отвернул-

ся, зевнул, зябко повел плечами под волчьим мехом и высунул голову за борт развеять дремь. Ураган, точно странная влага, ослепил его. Пилот отвел глаза. Внизу мчались клубы мрака, но позади, с востока, по черным черепакам ночи, уже ступал бирюзовый конь далекой зари. Пилот привычно охватил это свечение, ночь, тьму земной толщи и там, где восходившее над океаном солнце приближалось к западному горизонту, увидел такой же бирюзовый призрак девушки, невиданной десять лет. И еще мелькнул авиаторский шлем и профиль Арата, они условились встретиться где-то в конце земного пути... Но об этом пока не стоило думать. После. Пилот протянул в ураган руку и, отсалютовав, отвернулся к аэронавигационным аппаратам...

В это время, в стране, куда с высоты 4000 метров над уровнем моря пилот махнул свой привет, Артамон Михалыч вздул своего Степку.

Семья собиралась к вечерне. Баушка Федосеевна и Марья, Артамона Михалыча баба, ушли вперед. Дочери обрядились в недавно справленные голубые платья с полосками. Старший сын смазывал сапоги. А Степка нарочно вытаскивал книжку и притулился у окна, как будто его не касается.

— Ты эта што жа? — сказал Артамон Михалыч.

— Ничо, — сказал Степка.

— Поп-та тебя ждать будет?

Артамон Михалыч подтянул штаны и добавил наставительно:

— Ты пионер, должен показывать другим пример... Собирайси!

Степка вздохнул, помялся и остался сидеть.

Ну, тут Артамон Михалыч не стерпел, сгреб Степку в кулак, дал пару тумаков. Степка до дороге скулил. И на сердце у Артамона Михалыча стало мутно.

Огромное солнце сверкнуло в таежном болотце. Под

белым колеблющимся крылом плыли покрытые хвойным лесом предгорья С двух тысяч метров деревья — как волосы на полинявшем мехе. Старая медвежья шкура тайги застилала весь видимый мир.

На горизонте горы поднимались выше, уходили в голубой застывший океан сопок, подобных сгусткам того же самого чистейшего голубого газа, от которого так жадно поднималась грудь. Они едва отделялись от неба.

Вершины гор в снегу.

Скорость увлекала крепче вина. Вдали сверкнула полоса великой реки. Земля внизу лежала развенчанная, точно географическая карта. Крылья аэроплана закрывали целые уезды. Мир был безмерно велик и в то же время мал: человек, сказочный великан, делал шаг и вот расстилались новые страны...

Узлов схватил свою записную книжку. Он был корреспондентом. Каждый миг полета казался ему необычайным. Он хватался за карандаш, чтобы ничего не пропустить. Узлов был молод.

Представитель Авиахима, Бочаров, крикнул, показал на переднее окошечко. Там, закрыв его наполовину, появилась грязная жесткая ладонь, указательный палец провел волнистую кривую. Узлов быстро отстегнулся, ткнул в ладонь записную книжку. Ладонь исчезла, в окне возник каменный кивнувший профиль.

Пилот юнкерса «Исследователь», Ю 13, R—RSAD, Бронев, посматривал через левое плечо на океан тайги, на часы и на карту. Он летал в этой стране первый год. Бронев испытывал знакомый профессиональный подъем, оценивая гигантский размах ее пространств. Лес длился два часа полета — без единой «площадки», куда можно было бы приткнуться, в случае неисправности мотора. А моторы первой четверти XX века могли сдать в самое неподходящее время: — «Летать здесь почаше — наверняка угробишь машину и сам останешься по крайней мере без пары зубов и ребер», — спокойно подумал Бронев. Он прислушался к голосам мотора, взглянул на своего механика, сосредоточен-

но державшего рули и гикнул от удовольствия. В записной книжке он написал:

— Высота 2200 м., техническая скорость 150 кл., коммерческая около 180 (идем по ветру). Мотор, как новорожденный. Ну и местность здесь паршивая! Дайте глоток вина.

Бронев сунул книжку в окно. Бочаров отстегнулся первый, прочел, улыбнулся в рыжеватую мужицкую свою бороду, победоносно нацарапал в ответ:

— Это тебе не Европа!

Бронев закивал, улыбаясь.

— Впереди дождь, — крикнул он. — Эге! Что будем делать?

Человеческий голос исчез в яркой глухоте мотора. На горизонте, замыкая солнечный круг, громоздились грозные тучи.

— Ничего, — написал Бочаров. — Тайга скоро кончится. Будут встречаться поля. Сколько до копеек?

Он перевернул полушубки и чемоданы, наваленные на два передних сидения, разыскал бутылку и подал пилоту.

— Часа полтора, — ответил Бронев. — Как поживает наш Гомер?

Узлов встрепнулся от насмешки, засмеялся, но ответ вышел у него торжественным.

— Да, верно, — писал он, — это воздушная Одиссея. Но я еще не ослеп и потому могу только смотреть. Мне кажется, я ничего не напишу. Ведь я должен писать о непередаваемом... Дайте мне ваты заткнуть уши. У меня заткнуты листовками.

Пилот всматривался в воздух.

Внизу, на тысячу метров ниже, плыли белые солнечные облака. Провалы между ними были темны, тайга становилась пасмурной, грозной. Бронев вспомнил на миг свою работу в Западной Европе. — Ровные возделанные поля. Села, на которых огромными буквами, по букве на крыше, написаны их названия, — для простоты ориентировки. При каждом вынужденном спуске — автомобиль, техническая помощь, запасные части в ближайшем городке, радио... Все это называлось аэролинией... Впереди была Сибирь, конец

сибирской весны, изменчивый, полный налетов ледовитых ветров. Впереди каждая остановка мотора грозила аварией, каждую мелочь пришлось бы выписывать из Москвы... Но разве он не сам променял роль воздушного шофера на полеты «Исследователя»?

Бронев сделал знак борт-механику, ткнул на циферблате высотомера в цифру 1—тысяча метров, — убавил газ. Аэроплан, по наклонной плоскости, помчался вниз.

Облака наполнили мир. Их тысячи — разных, фантастических, подвижных. У них столько же форм и свойств, как у живых существ земли.

В тринадцатом году, когда Бронев служил механиком и еще не летал, пилот с Блерио говорил, бледнея:

— Вы думаете, небо пустое?... На самом деле там много всякой всячины.

Облака и ветры! Кто не был в воздухе, тот не поймет, что это значит — облака и ветры...

Светлые и громадные вздымались в небе выше Гималаев. Их вершины были белы, снежны, холодны. Серые и плоские протягивали щупальца в окна аэроплана. Далеко внизу ползли серые злые змеи, серые сырые полосы тумана.

Белые прекрасные крылья юнкерса врезались в облачную массу. Серый, сырой хаос помчался мимо, словно океан неосязаемых стрел. Волны океана забились о крылья. Белые, рубчатые крылья потускнели, закачались. Бронев нажал руль глубины. Через мгновение он снова увидел медленную землю. Аэроплан летел, почти касаясь великолепного свода. Кое-где над землей облака проросли дождем.

Бронев показал прямой ладонью вперед. Темно-зеленая хвоя тайги разрывалась яркими пятнами полей. Бочаров завозился с пачками листовок. На опушке встретились грязная кочка деревушки. Над ней закружились невиданные разноцветные бабочки...

Внизу, в кондовых избах, деревенские грамотеи долго разбирались в небесных заветах о земных вещах: о паротравопольи, об устройстве свинарников, о лесах... Небесные заветы были истины, как Евангелие...

Облачный свод спускался все ниже, мокрой лапой давил к земле. Черная стрелка высотомера показывала 500. Воздух становился густым, земляным. Сверкнула молния. Металлический юнкерс метнулся к солнечным пятнам горизонта.

Бронев вел аэроплан вдоль правого края дождя, стараясь обойти облачные хребты, открыть в них проходы. Порывистый ветер раскачивал, как мертвая зыбь, — вверх, вниз, в стороны. Эйлероны двигались непрерывно, резко. В левом крыле качался компас. Дождевая полоса теснила аэроплан на северо-запад.

Левое окно, у которого сидел Узлов, запотело от сырости, за ним был сине-серый мрак. Справа светило солнце, легкие чистейшие облака загорались отсветами желтых топазов. Плаваясь в золоте солнца, сиял медный наконечник пропеллера. Его радужный вздрагивающий круг заколдовывал шелковую паутину лучей. Вдруг, словно гигантская тень этого лучевого крута, в небе возникла радуга. Она замкнулась вокруг аэроплана ровным кольцом. Его нижняя дуга мчалась над полями, верхняя вздымалась, словно триумфальная арка над завоевателем. Весь круг двигался ровно, с такой же неутомимой постоянной скоростью, как дельфин у корабля.

— Радуга — знак надежды...

Бочаров выхватил записную книжку.

— Мне показалось, что мотор закашлял, — написал он.
— Выберемся?

— Нет, — ответил Бронев. — Гроза сбила нас с пути. Кроме того, скоро выйдет масло.

— Выбирай-ка, милоч, жилое место да садись! — крикнул Бочаров.

Бронев кивнул, взял рули. Аэроплан накренился на повороте, из-под крыла вынырнули игрушечные домики. Бронев снижался медленно, оценивал привычным глазом поверхность лугов, замкнутых березовыми колками, оврагами и пашнями. Он выпрямился на низком своем сиденьи, его лицо стало каменным, жили одни глаза. Аэроплан шел на посадку. Неощутимая прежде скорость возрастала с ужа-

сающей быстротой. Узлов насторожился, едва сдерживая трепет. Земля мчалась стремительными потоками зеленой краски. Странная глухота распространилась от замолкшего мотора. Вдруг, железный коготь у хвоста аэроплана коснулся почвы, наполнив пустое тело мощным вибрирующим гулом. Аэроплан остановился, подпрыгнув на ухабах, в десяти метрах от деревьев.

— Это называется: что и требовалось доказать, — сказал Бронев, отстегиваясь.

Служба уже началась. Артамон Михалыч остался с семьей у входа. Старенький священник деловито вытягивал свои возгласы. С клироса летел любимый альт. Кадильный дым, насыщенный тяжелой густой смолой ладана, клубился в парном воздухе. От этого Артамон Михалыч позабыл свою хмурь, перед его взором голубело, — под голубым небом зрел хлебушко — тучный, тучный.

Крестьяне крестились, раздумывая о житье-бытье.

Степка смирно уставился на золотые цветы свечей. Он бегал нагишом по мягкому песку, забирался с ребятами в тальники и пугал оттуда купавшихся девчонок.

— Паутов теперь на астраву! — подумал Степка.

Он ловил в горсть самых больших и басистых, втыкал в брюшко соломинку, спорил, чей улетит дальше.

Пауты зажужжали над самым ухом.

Степка дернулся, паутов не было, а жужжало все сильнее.

— Это на улке, — сообразил Степка.

С неба, куда возносился голубоватый дым и молитвы к угодникам, раздался совсем другой повелительный зов. Федосеевне вдруг припомнился «трубный глас». Чаше замаливали кресты руки, зашлепали старые лягушки губ, Степка, бочком, вылетел на паперть. Небо гудело, как телеграфный столб, вышиной с версту. Большая чудесная птица кружилась над селом, спускаясь все ниже. Тело у ней было сере-

бряное, а крылья вороненые. На голове, как рог, торчала урчащая труба.

Это было то самое! То, о чем рассказывал чернявый парнишка-комсомолец, приезжавший из города. То, во что Степка верил, как прежде в бога и дьявола. И в глубине души так же не мог представить, что это может явиться здесь рядом, в Шабалихе... Степка ощутил победный прилив радости: его вера взяла верх! Он вскочил обратно в церковь и заорал, забив последний страх перед иконописной святостью:

— Ероплант! К нам, в поле!

Ребятишки кинулись за Степкой. Взрослые, ругая нечестивцев, под предлогом расправы, степенно проталкивались к выходу. Артамни Михалыч вышел, опять припомнив Степкину книжку, но увидел диковинную машину и крикнул в дверь:

— Мать! Верно, вить, песий сын!

Мужики, крестясь напоследок, громко выражали свои чувства с помощью продолжительного нагромождения непечатных слов и различных возвышенных понятий, искусно соединенных в общеизвестной формуле.

— Восподи, и до чиво народ доходит! — причитали бабы.

— Садится! садится! — заорал парень.

Толпа побежала.

В церкви еще оставались старухи, но кряхтя и вздыхая они выползли — все до одной. Отец Силантий остался один. Ему тоже хотелось пойти за старухами, но вдруг стало обидно. Отец Силантий вспомнил: где же матушка? И с ужасом сообразил, что *дух злобы поднебесный* похитил его паству, без остатка.

Одинокая тень замаячила в пустой церкви, от ее прикосновения гасли свечи и голубые спирали дыма плыли в круглый купол. Все гуще голубело в вышине. И все гуще и повелительнее летел оттуда победный голубой зов.

Бронев топтался на гофрированном крыле юнкерса и тербил свои уши, как будто только что вынырнул из воды. В ушах был набатный звон и гуд, слово после целого грамма хинина.

— Что и требовалось доказать! — повторил Бронев, стаскивая кожаный шлем.

Нестягин, борт-механик, поднял «капот» и близоруко разглядывал своего разгоряченного питомца. Нестягин был невелик, в сравнении с большим телом пилота, носил круглые очки в черепаховой оправе, европейскую «тройку», мягкий воротничок, галстук; сверху — неизменный замасленный дождевой плащ и серая заграничная шляпа. Свою «спец-одежду» Нестягин позабыл на одной из остановок. Теперь он походил больше на доктора, выслушивающего больного, чем на борт-механика. В дни круговых полетов о нем говорили так:

— Вы знаете летчика Бронева? Нет? Ну, как же: у него еще механик — немец...

— Что у вас там? — спросил Бочаров.

— Масляная помпа, — ответил доктор.

Нестягин приставил воронку, словно стетоскоп к сердцу, стал наливать смазку.

— Досада какая, — неопределенно пробормотал он. — Всегда что-нибудь ломается... Вот, когда у нас будут электро-моторы, тогда — да!

— Где-то теперь наши кругосветные летчики? — сказал Бронев. — По последним сведениям, они перелетели Атлантик.

— Раз немцы возьмутся, они что задумают, то сделают, — вставил Узлов.

— Какие немцы!.. Один, верно, немец, а другой — брат мой, Ермошка. Вы не видели?..

Бронев достал из кармана френча скомканный немецкий журнал. На полях прекрасной меловой бумаги остался грязный отпечаток большого пальца.

— Вот.

На фотографии были сняты: Шрэк — «начальник экспедиции, организованной объединением германских фирм,

капитан моноплана J. H. E.—4, № 9, «Людвигсгафен», Лев-берг — капитан J. H. E.—4, № 10, «Варнемюндэ» и Эрмий Бронеv, «летчик-виртуоз» номера 10, — как провозглашала подпись.

— Красив, — сказал Бочаров.

У Эрмия Бронева, как у брата, были четкие, каменные черты, смелый поворот шеи; но темные волосы были гуще, бритые губы полнее, глаза веселее.

— Покрасивше тебя, — прибавил Бочаров, крикнув.

— Еще бы, — улыбнулся пилот... провел рукой по лысеющей голове, пощипал жесткий ус... — подходит к четвертому десятку. А этому парню тридцати нет... Ну, меня бабы и так любят !

— Это, брат, верно: бабы аэропланщиков любят.

Бочаров посмотрел на часы.

— Когда полетим?

— Подождем, прибежит кто-нибудь, спросим, что за деревня... До темноты успеем.

Бронеv взял пару полушубков, спрыгнул, расположился под крылом.

— Если бы я был богатым, я купил бы себе хорошую лошадку и ездил бы, — сказал он. — Самое верное дело. А этот, — махнул он на забрызганный маслом юнкерс, — убьет когда-нибудь!

Бронеv был один из немногих пилотов, уцелевших с времен зари авиации. Он был спокойно-отважен, свылся с небом, как рыбак с озером. В туманную осень, в дни вынужденного бездействия, он тосковал о поющей сини; но каждый раз, после больших перелетов и случайных неудач, он начинал свою песенку про лошадку.

Дождевая полоса прошла мимо. Мокрая трава светилась в косых лучах отсветами изумрудов. Свежие березовые колки закрывали луг. Аэроплан стоял среди оглушительной тишины. Узлову стало не по себе; он подошел к Нестягину.

— Я читал, — заговорил механик, — один профессор, эсэсэсэровский, изобрел способ концентрировать электрическую энергию в чрезвычайно малом пространстве. По его

словам, изобретение может быть применено к авиации. Года через два, мы поставим в эти дюралюминиевые крылья, вместо бензиновых баков, мощные аккумуляторы, которые будут отдавать свои силовые запасы десятки часов подряд. Вероятно удастся, при этом, внести в конструкцию горизонтальный винт, чтобы он поддерживал аппарат при посадке, уменьшая горизонтальную скорость до минимума... Тогда полет станет самым безопасным из всех способов передвижения, а управление аэропланом — общедоступным. Про нас будут вспоминать с трепетом удивления. Вот, скажут, люди отваживались летать на перманентно-взрывающихся бомбах!.. Для электромотора безразличны высота и температура. На земле и на 10.000 метрах он будет развивать одинаковую мощь. Тогда никому не придет в голову различать по трудности полет над лесом, над горами, ночью. Зимой, закутавшись в меха, мы будем вылетать на юг и через день принимать солнечные ванны на берегу теплого моря. Это будет свобода. Техника несет нам свободу. Только! А ваша лошадка, — наклонился он к Броневу, — это крестьянская изба с клопами и тараканами, нечисть, «Дворянское гнездо», всякие Лизы... Тьфу!

— Ага, свистнуло! — закричал Бронеv, стискивая скулы.

Глухота после полета проходит через 20-30 минут, внезапно, как будто в ушах лопается какая-то упругая пленка.

Степка свалился с Рыжика, бросил коня, побежал щупать машину.

— Жесткий!

Нестягин задвигал, для остротки, рулями. С тех пор, как один парнишка засунул в руль глубины палку, он не выносил ребят.

Бронеv подозвал мальчика. Степка смотрел на воздушных людей не мигая. Ему хотелось перекреститься.

— Какая ваша деревня?

— Шабалиха, — выдавил Степка.

Палец пилота пополз по сорокаверстке.

— Вот.

Он вынул спичку. В спичке — два дюйма. Смерил.

— До копей верст семьдесят. Полчаса.

— Не забудьте, — сказал Узлов, — мы хотели спуститься в шахту.

— Успеем.

— Что же, митингом, раз уже сели, — вздохнул Бочаров.

— Можно.

Бронев закурил.

— Ну, полетишь с нами, малый?

— Полечу! — выпалил Степка.

— А мамка отпустит?

— Скажу, отряд командировал...

— Правильно, — развеселился Бронев. — Крой, мамок!

Разноцветная толпа бежала к аэроплану, точно вырастали цветы. Бронев смотрел на крепкие голые ноги, закрытые до колен желтой юбкой.

— Теперь извольте превращаться в милиционера, — заворчал Нестягин, становясь у хвостового оперения.

— Андрей Платоныч! — крикнул Бочаров сверху, — давай, брат, лезь на крыло, начнем!

Бронев нехотя отвел глаза, вспомнил свою любовницу в Новоленинске, пошел подтягивать Бочарову насчет мировой буржуазии.

Юнкерс, окруженный толпой крестьян, стоял, неумоимо приподняв крылья, прекрасный, невиданный, страшный.

— Летит в виде вороны... А сел — вот так ворона! — говорили бородачи.

Федосеевна оперлась на клюку, покачивалась, повторяла нараспев:

— Ох и кры-ылья, ну и кры-ылья...

Комсомольцы выпытывали:

— Сколько весит аэроплан?

— Сто двадцать пудов с полной нагрузкой.

— Сколько поднимает человек?

— Шестерых.

— На какую высоту залетает?

Нестягин отвечал, откусывая колбасу. Толпа вздыхала. Аэроплан был в этих местах первый раз в вечности.

Бочаров начал свою заученную громкую и корявую речь об авиации, об Авиахиме, об Антанте. Мужики отмахива-

лись от мудреных слов, как от мух над ухом, но понимали крепко, кивали.

Нестягин демонстративно завозился с мотором. Только один способ агитации казался ему надежным — полет.

На крыло на четвереньках взобрался секретарь Шабалихинской ячейки, взял слово.

— Так што, товарищи, понятно, — сказал он. — Да здравствует общество летательных машин!

— Ура!

— Правильно!

— Поддерживаем!

— Следовательно, — продолжал оратор, — так што мы с имперьялистами в серьезе, нужен нам красный воздушный флот. Штоб при случае и гнуса всякого химией травить и лорде морду набить. А потому, хто сознательный, записывайся в члены.

— Правильно! — опять поддержали шабалихинцы.

— Коль совецка власть не забывает — и мы не прочь.

— Теперь и помереть можно. Записывайся!

Бочаров слез передать значки шабалихинскому секретарю, попал в переplet.

— Слыхали мы, — говорили мужики, — в других селах крестьян по воздуху катали...

Бочаров стал объяснять: аэродром... 400 x 400 метров... скорость при разбеге... но шабалихинцы не отступали.

— Знаю, — говорили они, — аршин пошел теперь большой совецкий. В карпоративе маята с им. Не поймешь, сколько спрашивать. А промежду прочим перемеришь по своему, ан тебе четверти и не хватат... Ну, а может и по нашим аршинам полетит?

— Сроду, вить, не видали!

Тогда Бронев придумал.

— Покатать мы вас не можем, а вот если кому надо на копи, пусть летит с нами

— Ладно! — согласился Бочаров. — Выбирайте одного...

— И так как он был коммунист, то прибавил, отведя шабалихинского секретаря в сторону: — Только ни в коем разе

не коммуниста! Выбирайте мужика степенного, чтобы полное доверие было...

Крестьяне сбились в кучу, загалдели.

Желтое солнце маячило над горизонтом. Нестягин вертел, подпрыгивая, пропеллер.

— Контакт!

— Есть контакт!

Взрыв газа рассеял толпу.

К рубчатому серебристому телу юнкера подошел Артамон Михалыч. Был он в броднях, в армяке, в шапке.

— Што жа, — сказал он, — мир решил — полечу.

Рыжая борода Бочарова внушала ему доверие.

— Раз люди летают и мы полетим...

— Тятка, а я?

В ногах путался Степка. Глаза у него были круглые. Артамон Михалыч, по привычке, пригрозил:

— Брысь, ты!

— А парень-то знакомый! — вмешался Бронев. — Сын, что ли? Веса в нем нет, а назвонит он больше всех. — Лезь, пионер!

Степка нырнул в каюту.

— Ну, што жа, — сказал Артамон Михалыч, — денег за ево не платить.

Он сел справа, у открытого окна.

— Егорычу на копиях сказывай почтение! — крикнул сосед, Степан Гаврилыч.

Через толпу, вопя, пробивалась Марья.

— Степку хучь выпусти, черт старый, Степку!

Артамон Михалыч махнул шапкой. Марья кинулась вперед. Бронев дал полный газ. Ветер завернул марьины юбки. Аэроплан покатился, поднял хвост, взмыл над роццей и унес Артамона Михалыча, как небесные кони Илью-пророка.

Гром мотора, как рог великана. Зеленая трава за окном — зеленый поток. Все мягче воздушные толчки колес.

Вдруг неощутимо упала стремительность, раздвинулся горизонт. Белое крыло с огромными непонятными буквами провалилось в зеленую бездну, мир закружился. Артамон Михалыч, как в лодке, наклонился в сторону, выправить крен. Бочаров захохотал, крикнул. Воздушные люди были спокойны. Степка шнырял глазами от окна к рулям и приборам. Пугаться — у него не было времени. Артамон Михалыч вспотел, заглянул вниз.

— Елки палки!

Узлов улыбнулся, сунул в мужицкую руку записную книжку и карандаш.

— Грамотный?

Артамон Михалыч кивнул, старательно вывел, точно плетень сплел:

— Очень хорошо и нестрашно.

Аэроплан поднимался все выше. Клетчатая браная скатерть. Луга, перелески, пашни. Народ, как ягнетенки на выгоне; Артамон Михалыч узнал свои посевы. Душа хлебо-роба переполнялась туманным голубым медом, как тогда — в церкви.

— Как красиво! — написал он.

Бочаров спросил:

— Сколько езды до копей?

— День.

Впереди, в огненном мареве заката, дымились трубы. Край неба рос, покачиваясь, зацвел черными цветами угля, красной кладкой коксовых печей...

— Двадцать семь минут! — крикнул Бочаров.

Аэроплан коснулся аэродрома.

Мотор замолк.

— Ученье свет, неученье тьма, — сказал Артамон Михалыч.

С грохотом повалились окаменелые века. Узлов оглянулся: это школьная пропись, вылетевшая из дремучей бородищи, гремела громом и грохотом проснувшегося Святогора. Артамон Михалыч стоял на крыле аэроплана. Артамону Михалычу ревели ура, аплодировали. Молодой рабочий крикнул:

— Рассказывай, отец, как скатался, как на том свете побывал?

— Всех пророков, поди, видел?

— Ни черта там нет. Ни одного, — ответил Артамон Михалыч. — Там, граждане, жить можно. Вот эдак лететь согласен хоть в Пекин, хоть в Москву.

— Теперь в Авиахим-то запишешься? — выпытывал тот же голос.

Артамон Михалыч степенно приподнял руку, чтобы не мешали, и произнес речь.

— Ну и што-жа, конешжо, што хорошо, то хорошо! Которы тут говорили, простите мое слово, в штаны, мол, навалишь со страху. Однако, оказалось ни к чему это. Ну, сам я, как не бывал никогда, дак сперва, конешно, в нутре сперло. Однако, ничего не оказалось: ни трясения, ни качки. Очень даже радостно ехали. И велик, братцы мои, мир божий!.. Думал я, как спускаться будем, может сразу стук какой, али толчок будет. Ну, этого не оказалось, — спустились плавно и хорошо. Нам на митингах доказывали, звали в члены вступать, ну, мы не верили, думали, так, перед налогом, нашего брата одурачить хотят. Теперь я уверился. Приветствую товарищей летчиков! Это для нас не пагуба, а помощь, как по сельскому хозяйству, так и в случае военного времени... Вот правильно пророчествовал тот, кто написал: «Кто был ничем, тот станет всем», товарищи. А што библия?.. Ни черта там нет... И ни нырков тебе, ни ухабов. Как есь в минуту миня доставили. Желал бы летать все время! Только бы повыше, а то низко летали. Охота бы узнать, какой там воздух. Тут-то такой же, как на земле... Вот, товарищи, одно слово — правильно: записывайтесь в воздушные члены!

II. Бывает, что и медведь летает

Бронев шагнул на деревянную, в кумаче и знаменах, трибуну. Земля осталась внизу. Мозг пилота, как вспышка молнии, выхватил кругозор. Бледно-голубой, безоблачный, — лётный день. По траве, муравьи к муравейнику — черные шахтеры к черному живому озеру у трибуны. В черном — красные, желтые, синие маки женщин, хозяйственные острова крестьянских подвод с кринками, караваями, квасом, сосунками, подсолнухами. Отряд физкультурников, юноши и девушки, в одинаковых синих трусиках, желтых безрукавках с красными звездами — подсолнечный частокол. В конце частокола — красные «галтусы» пионеров, звонкая песня. От голых рук и ног бодрость, улыбка. Солнце... А где-то рядом, в темном тупичке памяти, — ночной полет в шахту, болотные огни бензиновых ламп, подземные ручьи, десятки километров подземелий. Пот и усталость, мокрое, как водяная крыса, тело, ледяное потрескивание скреп и вдруг ледяной воздушный родник из невидимой пасти. Подземные душные лошадиные стойла, — люди-подземники, — жизнь. Эти два забоя. Один — деревянная клетка с рыхлыми, как сажа, стенами — мягкий, обваливающийся смертоносный пласт; смердело серой и сыростью, гасли лампы. Другой — блестящий, каменный, черный — кайло о него каменно звенит. Бронев пробовал дробить этот уголь. Изпод железа вылетали мелкие осколки — таких осколков надо было набить десятки пудов, — работа была сдельной. На глубину в 200 метров от поверхности клеть еще не спустилась, туда нужно было идти по крутой, узкой деревянной лестнице — 263 ступени. Бронев ощущал крепкую боль в ногах, боль останется дня на три. Шахтеры шагали здесь каждый день, после шестичасовой работы, не в зачет работы. — Черный уголь, черный пот, чертова лестница...

— Товарищи! — сказал Бронев.

Он говорил неискусно и обыденно, но засученные грязные рукава и тяжелые кулаки, взмахивавшие над блестящими крыльями, были красноречивы.

— Советская власть, — отмахивали кулаки, — разумеется, не может отпускать на воздушный флот столько же средств, сколько мировая буржуазия. Но, товарищи, мы им все-таки морду набьем! Раз у государства не хватает средств, значит — *сами*. С миру по нитке — новая стальная птица!..

Физкультурники стащили Бронева — «качать». Пилот, проделав дюжину сложнейших фигур высшего пилотажа, побежал, вытирая пот, к аэроплану: на нем было спокойнее. С трибуны провозглашал неисчислимые приветствия председатель РИК'а, товарищ Климов.

Раздался взрыв газа в моторе, завертелся пропеллер. Толпа сразу оставила Климова, окружила юнкерс. Как роженицы, изнывали от крика милиционеры. Парни отругивались.

— Что это, посмотреть не дают народу...

— Какие такие права...

— Жандармы!

»

Старший пошел докладывать, выбрал почему-то Нестягина, вытянулся — красный от негодования.

— Ты порядок наводишь, а тебя ж облают. Тут, товарищ летчик, не то что милицию, самого Колчака надо! Несознательный народ.

Нестягин заворчал, закручивая медные проволочки, что он «вообще, собственно говоря, против власти»...

— Ах ты мерзавец! — завопил он, увидев парнишку у самого руля поворотов.

Парнишка самозабвенно подвигал рулем, бросился наутек. Нестягин догнал парнишку, дал ему подзатыльник, по пути подтолкнул бабу, ругнул мастерового. Рабочие, увидев чужого — очкастого — от удивления стали отступать. Подсолнечный частокол физкультурников снова сжал толпу. Аэродром был свободен.

— Это против моих убеждений, — жаловался Нестягин, залезая на свое место, — но разве с ними можно иначе? Каждый раз неприятности.

— Готово? — посмеивался Бронев.

— Сейчас-сейчас!... — Готово! Готово!

В кабинке, распрямив спины, торжественно, как перед таинством, сидели три шахтера и крестьянин.

Таинство называлось «воздушным крещением» и «октябринами». Из сухой купели выходили воздушные крестники — просветленные высью — рассказывали, приблизительно, так.

— Хорошо там, товарищи, и не скажешь, как хорошо!.. Точно в лодке покачивает — вверх-вниз, вверх-вниз. Только вот, когда он на бок клонится, то смешно как-то... ну, чувствительно! А в общем, вроде как в клетке, только лучше: свет кругом и люди внизу — масенькие-масенькие...

Слушателям необходимы, чрезвычайно важны подробности. Спрашивают, будто анкету заполняют.

— Хорошо?

— Хорошо!

— А не трясет?

— Куда! Вагон другой хуже трясет.

— А как там сидеть-то?

— Сидеть? Сидеть там, милый, замечательно хорошо! Как заведующий, в кресле! Только ремнем пристегивают... Ну, ремень не по нашему брюху, побольше немного.

Солнце поднималось в зенит где-то над устьем Ганга. Голая земля копеей пропиталась блистающими осколками южного зноя. Нагретый воздух взлетал вверх, раскачивая аэроплан, как речной баркас, приплывший в Карское море. Нестягин говорил, что из радиатора получается «самовар». В одном из цилиндров треснул фарфор свечи, мотор заверещал, точно испорченный пулемет. Бронев объявил перерыв. Толпа снова придвинулась ближе. Те же неутомимые глаза смотрели на прекрасную машину.

— Вот, советская-то власть все устроит! — с гордостью сказал рабочий-коммунист.

— Надо только больше организовывать, — вставил другой.

— Погодь лет пяток, все полетим!

— Я мекала какой ни на есть один смельчак найдется лететь, а тут и женчины, — звонко затянула молодуха. — Привык ат народ!

По этому поводу Нестягин произнес речь. Он лежал в тени крыла. Бронев обыгрывал Бочарова в шахматы. Нестягин обращался к Узлову, надеясь, что корреспондент записывает его слова.

— Ленин говорит: «Государство сможет отмереть только тогда, когда люди привыкнут к основным правилам общежития». Вы понимаете, что значит это: «Привыкнут ат народ»? Для меня самое главное — растущая уверенность, что мы все можем преодолеть. Человек привыкает к воздуху. Иногда по одной наслышке — привыкает. Современный планер, из дерева и материи, можно было бы построить во времена фараонов. Расчет его, во всяком случае, проще каменных сводов Эллады. Дедал мог бы летать не только в сказке. Техника, в узком смысле слова, здесь не при чем. Но только в XX веке, без особого труда и жертв, наши планеристы научились парить в воздухе дольше и лучше хищных птиц, выслеживающих добычу. А в аэроплан мы садимся спокойнее, чем в лодку.

— Сдавайся! — сказал Бронев.

— Постой, постой, — зачесался «Авиахим».

— Манера всех сапогов: проиграл ладью, а еще кулаками машет.

— Помните, — говорил борт-механик, — с каким трепетом подходили к своим машинам первые авиаторы? Они погибали с громкой славой, как древние герои, но теперь мы знаем, что они гибли просто от безграмотности, с нашей точки зрения, конечно. На самом деле, летать нетрудно. Роберт Маран говорит, что «управлять самолетом легче, чем автомобилем». Я знаю несколько случаев, когда люди, в первый раз севшие за рули, поднимались и летали благополучно, не говоря уж о многочисленных учениках авиационных школ, проделывающих то же самое под наб-

людением инструктора. Потому что они привыкают к воздуху...

— Тебя опять на язык слабит, — сказал Бронев, не дождавшись, когда его партнер высидит свой ход. — Конечно, пригодный для авиации ученик, легко научается лететь над аэродромом; но пусть бы твой Маран попробовал сделать сотню посадок на полях таежных деревушек. Тогда бы он сказал, что авиация, это — искусство. Легко писать стихи: «Весна — луна и вновь — любовь, она — полна — огня»... а вот напиши, как Пушкин. Авиация это — искусство!.

— Истина, как всегда, посредине, черт бы ее драл! (т. е. середину), — ответил Нестягин. — Я, конечно, убежден, что многие на вашем месте скапотировали. Я имел в виду полеты на оборудованных аэролиниях, практическую авиацию. Если мотор тянет тебя от аэродрома до аэродрома, то какая твоя заслуга? Поэтому у «Дерулюфта» механик зарабатывает больше пилота.

— Я этой воздушной коммерции не признаю!.. — загрохотали ругательства.

— Сдаюсь! — завопил Бочаров. — Пошли вы...! Пора приниматься за дело.

Они встали враз, по-военному. Нестягин в три привычных приема вскарабкался и сел на свой мотор.

— Проворачивайте винт! — крикнул он юным добровольцам, выжидавшим чести притронуться к пропеллеру.

Парни заработали изо всех сил.

— Вот телеграмма, — подошел Климов. — Вы интересуетесь кругосветным перелетом?

— Да, да! — подбежал Бронев.

— Они в Сан-Франциско, читайте, — сказал Климов.

— Черт! — плюнул Бронев. — Вот прут! Еще бы! У них по три мотора какой-то новой, чертовской марки... Семен Семеныч! Товарищ Бочаров! Смотри, ты обещался мне устроить встречу с Ермошкой в Бийске. Мы сговорились, что я буду ждать его там. Смотри, прозеваем! Видал, как прут!

— Успеем, — пробасил Бочаров. — Завтра будем в этом Сиворжове, потом сразу на юг.

— Как это так, в Бийске?.. — сказал Климов.

— Их путь через Монголию и Алтай, по долине Катуня, — объяснил Бронев. — Вполне правильно, по-моему. Лучше летать над пустыней и степью, чем над тайгой. Вот их останки: Сан-Франциско, Гонолулу, потом какой-то западный островок архипелага, Токио, Пекин, Кобдо, СССР... Красота!

— М-м, — деликатно помялся Климов. — А что же, братец ваш, эмигрант, что ли?

— Да нет! — нахмурился Бронев. — Верно, служил он у Скоропадского, потом черт его знает где. У Юнкера во всех странах, поди. Такая уж у нас профессия и н т е р н а ц и о н а л ь н а я. Впрочем, дайте встретиться. Я ему еще намылю шею!

— Андрей Платонович, готово! — позвал Нестягин.

Климов побежал за очередной четверкой пассажиров.

«Исследователь» кружился, пока не настал вечер, алый, как яхонт. Почернели трубы и копры. Сто двадцать поднимающихся в воздух лили в черную толпу светлое, как спирт, вино неба. Они были пьяны — чтобы проспаться, чтобы уйти в подземелья, добывать уголь и помнить этот день. И в блистающих крыльях аэроплана, мчащихся в чистейших слоях атмосферы, Броневу чудились привиденья блуждающих огней и глухие ожесточенные взмахи кайла, дробящего черный каменный пласт...

Летчики вернулись ночью. Инженерша принесла подогретый обед.

Узлов ушел на телеграф. Бочаров и Нестягин занялись письмами — женам. Бронев был холост. Он хотел было черкнуть своей Лидочке, маленькой влюбленной балеринке, но вдруг помрачнел, стал выпивать. Бочаров шагал рядом в нижнем белье, волосатый, веснучатый, возмущался:

— Брось, охота лакать такое дерьмо!

— Надо же куда-нибудь девать деньги, — говорил Бронев. — Сегодня, по полтиннику с пассажира, я заработал столько, сколько шахтер зарабатывает в месяц. Прямо свинство. Вот я и отдаю денежки народу: рыковка-то, она ведь казенная...

Но пилот шутил, он был сдержан: завтра под его руками должны были протечь 500 километров свирепой тайги. Руки должны были быть твердыми.

Утренний горизонт еще не открыл солнца. Серый хлоп тумана валялся в котловинах между шахтами. Небольшими группами, цвета земли, шагали шахтеры. Небо было ясно, воздух чист. Под землей пахло серным колчеданом. Утренняя смена забойщиков спускалась на работу. Механик шахты № 5-7 сидел за рычагами, как пилот. У него были широкие ушные отверстия, он пятнадцать лет считал удары колокола: раз, два — уголь, раз, два, три, четыре — люди.

На юнкерсе «Исследователь» закрылась дверь с предохраняющей черно-красной надписью. Пассажиры пристегивались ремнями.

Сиворжовский окравмахим телеграфировал: «Дождь, низкие облака». Сиворжовский телеграфист, товарищ Пунширов, был членом сиворжовского кружка планеристов. Он надеялся полетать. В белобрысой комсомольской его голове были головокружительные видения. Товарищ Пунширов прибавил от себя: «Погода улучшается». Бронев решил лететь.

Облака начались после двух часов полета. «Исследователь» летел на высоте 1500 метров, выше разорванного облачного слоя. Облака, на сине-зеленом фоне тайги, были ослепительно белы, кругозор был странной смесью многих красочных стилей: заоблачные мечты Чурляниса и облака «небесного боя» Рериха, нежные дали Нестерова и Левитана и грубоватые контрасты «Вечных льдов»... Бронев не думал об этом. Облака давили его к земле. Скоро он был вынужден лететь в сером ненастье, на сто метров над вершинами деревьев. Ель, осина, сухостой, болота. Бронев не писал записок: компас и рули — и упрямая кромка губ — больше ничего.

Хмурь неба все гуще. Дождь зашипел по белым полым крыльям, как по добела раскаленному металлу, слышнее тысячи труб мотора. По желобкам несущих поверхностей текли и вдруг протягивались параллельно мохнатому дну тонкие витые струйки, словно водоросли в прозрачном водопаде. Авиаторы пригибали головы за желтовато-зеленый целлулоидный козырек, так же как прежде за блиндажи траншей. Дождевые капли били, как пули.

Облачные космы путались с вихрями елей. Тайга — туман — хаос. Юнкерс, точно отряд конницы перед проволочным заграждением, не выдержал, повернул. Вспененный мокрый конь заметался среди вражьей силы.

Рули и глаза и упрямая кромка губ — больше ничего...

Вдруг из тумана — зеленая плешинка, не то елань, не то лесосека. Бронев мгновенно решил — взял на посадку. Пассажиры держались за спинки передних кресел.

Аэроплан быстро и тяжело остановился на размякшей земле.

— Такой полет имеет много общего с шахтерской работой, — сказал Бронев. — Только не надо нагибаться.

Он соскочил, пробежал по елани, вернулся. Сапоги его были мокры и блестящи. Лепестки цветов остались на них.

— Сознаюсь: здесь мое искусство не при чем. Просто повезло: тут пень, там пень...

— Сесть-то сели, а как выберемся? — вздохнул Бочаров.

— Придется поработать, расчистить площадку, — сказал Бронев.

Он опять ушел вымерять метры, отмечать пни и ямы. В аэроплане нашлись два топора, пила и шанцевая лопатка. Еды не было, кроме буханки хлеба, колбасы и вина. Пни выкорчевывали торопясь, не берега сил; к вечеру болели руки и спины, — план пилота был выполнен, но туман не рассеялся.

— Что ж, заночуем, — сказал Бронев.

Древние ели стояли кругом, как буддийские пагоды, протирая карнизы своих ветвей. Трава поседела от сырости. Комариная тишь. Бронев показал на пропеллер: его лопа-

ти были в мелких кровяных пятнах от разбитых насекомых.

— До черта, до черта комарья тут и мошка, — обреченно отозвался Бочаров. — Все рыло распухнет.

Узлов рассказал:

— На аэродроме, на копиях зашел спор: чья работа труднее. Казалось, кто станет тягаться с забойщиком? Подошел мужиченко и негромко эдак, между прочим, вставил: «А косить в тайге, когда мошка, не хошь?..» И шахтеры замолчали, отошли. В Сибири знают, что это за штука. Сейчас какая мошка! Вот недели через две...

— Костер! — крикнул Бронев. — Прите валежник!

— Не разжечь, — причитал Бочаров: — такая мокреть.

— Дурак, дурак! Видно, что ты охотник, а не самолетник. Бронев нацедил полведра бензина...

Ночь — тайга — костер — громадные призрачные крылья.

Люди у костра согнулись над картой.

— Если считать, что с одной стороны наше задание состоит в исследовании новых воздушных путей, а с другой — в агитполетах, то первую часть мы выполнили целиком: пути, на восток от Оби, никуда не годятся.

Ночь — костер — пастухи. На траве — рядом — пасется ручное чудовище.

Нестягин сидел поджав ноги, по-азиатски, говорил, как будто рассказывал сказку.

— В Сибири надо летать на гидроаэропланах. Посмотрите, какие здесь реки. Их притоки сближаются на несколько десятков верст, из одной системы легко перелететь в другую. По берегам рек расположены почти все города, крупнейшие села. И те же водные пути ведут в такие места, в такие... вот, например, это озеро: «Падыргэ-Недэ-Ами-Тэль-Ту».

— Я выписал поплавки для своих юнкерсов, — сказал в свое оправдание «Авиакс».

Бронев вспоминал полеты в Средней Азии. Он служил там, вместе с Нестягиным, на аэролиниях Добролета. Перебивая друг друга, авиаторы рассказывали о путях над Аф-

ганистаном, о холоде снежных хребтов и о шестидесятиградусном зное в долинах. Воздух кипел, взлетая и падая, незримые «воздушные ямы» наполняли атмосферу...

Громадные смолистые пни нагорали углями, от огня становилось сухо и знойно, Бочаров предложил реванш в шахматы. Партия была испанская.

Узлов перелистывал свою записную книжку. Она была наполнена перепиской с пилотом, подкрепленной ругательствами, сравнениями качеств мотора с различными качествами Лидочки, торопливой записью громких признаний крестьян о сказочной птице, влетевшей в неподвижную их жизнь... Он задремал, свернувшись под овчиной.

Ночь — костер — громадные крылья — аэроплан или — может быть — археоптерикс.

Узлову снились синие сопки, Туркестан и воздух.

Вдруг лопнула свеча, ровный гул мотора перешел в ружейную пальбу. Узле» проснулся, сел: в розовом рассвете через поляну бежали босые, простоволосые старухи, били в сковороды.

— Ведьмы! — сказал Нестягин.

— Это хорошо, — решил Бронев: — поблизости есть сумашедший дом, значит город не далеко.

— Ну, местечки, местечки!.. — закричал Бочаров, ежась: — дуют нагишом в такой холод!

— А ничего, небушко летнее, — прищурился Бронев. — Ну, давайте выбираться из этой мышеловки: кто кого.

Мотор разодрал тишину, как занавеску. Нестягин спрыгнул, законфузился, сказал, что надо переменить пружину клапана. Бронев выключил. Тогда с опушки полетел крик: «Стяпан! Стяпан! Стяпан!».

Неспешно подошли два охотника, в полушубках, в шапках, в броднях, сказали, скидывая берданы: «Здравствуйте-ка» и «откель». В их лицах не было ни удивления, ни тревоги, они казались одинаковыми, как европейцам кажутся одинаковыми негры, только у одного борода была темная, а у другого, у Степана, с проседью. За темным на веревке, как собачонка, вышагивал медвежонок.

— Продай! — сказал Бронев.

— Купи.

— Два червонца!

Охотник чуть не перекрестился: вот послал Господь дурака, — медведя не видал.

— Это подарок Ермошке, — объявил Бронев.

— Ты что, опупел! — напустился Авиахим. — Куда мы его денем?

— Вам что же, тесно вдвоем? — помрачнел пилот.

— Дак с ним же медвежья болезнь, он...

— Ну, тогда сам садись за рули!

— Он у миня смирнай, Миша, — сказал охотник, испугавшись, что сделка разладится.

Бронев отдал деньги, потащил медвежонка к юнкерсу. Темный ушел помогать.

— Ну местечки, местечки! — вздохнул Бочаров. Он спросил Степана насчет «ведьм».

— А етта деревенька наша тута, — объяснил охотник.

— Ну?

— Обягали, видать, деревеньку стары: лихоманка шибко у нас народ трелит. Разны способы перебрали. Вадицу святу, огонь деревянной. Таперь, должно, обягали. Ну, как ничо не помагат, в неволю черту свечку поставишь... И-их, ужась старуху взяла, верна! Вот, скажут, ета сама лихоманка на елани, как сатана ужасное, большое, с крыльями...

Охотник засмеялся.

— Болота у вас. Малярия.

— Болоты, правильна...

Железный доктор ссыпался сверху, замахал черными руками.

— Семен Семеныч! Действительно! Анофелесов здесь полно!.. Смотрите!

Комар сидел, как самолет с подломанным шасси, носом вниз. Охотники переглянулись, сквозь хвою бород усмешка:

— На эропланте летат, а комара боится.

Им было трудно представить, что комар страшнее аэроплана.

Бочаров завел проповедь о пользе хинина.

— Знаю! — отмахнулся охотник. — Да где не укупишь хину? Купить ничо ни укупишься. Был у нас сельсовет, свой паря, при Толчаке порот, доставал. Как он таперь в атпуску, в тюрьме то-ись, за *холодное отношение к возложенным на него обстоятельствам* (до подозримых в налоге не встрявал, што-ль)... дык на ево место, сточь-вточь, силом не заташишь. Бягут. Как выберим, так сбязит челавек. Охотничать...

Нестягин развертывал пропеллер.

— Ну, подождом, посмотрим, как медведь летат.

— На-ко, берите, — сказал Бочаров, сунул в шершавую ладонь бумажный мешочек с порошками хинина.

— Вот-та лафа нам: мядведя, схитрились, сходно продали, а ишшо придача. Да ты возьми хучь серяка за хину!

Бочаров взял гуся, пожал Степанову ладонь.

— Залетайте колда, — махнул шапкой охотник. — Чичас у нас начальник милицейский, из партизан наших. Самогон расследует. В Сиворжове он начальник. Дык скажем, вот попрет, чать...

Мотор не запускался. Моторы внутреннего сгорания подобны знаменитым писателям, которые в свою очередь напоминают моторы внутреннего сгорания. При всей видимой исправности, внутри у них иногда чего-то не хватает и они не действуют.

— Контакт!

— Есть кантакт!

Ж-ж-ж ж.....!

— Выключил!..

— Контакт!..

Медведь, привязанный к правому переднему сиденью, ревел, как свинья. Нестягин замаялся. Вертел Бочаров, вертел Узлов, вертели охотники. Бронев, восседая на Олимпе юнкерса, равнодушно зачеркивал труды смертных:

— Вы-клю-чил!

— Ну, неколды нам, — сказал один из охотников, вытираясь. — Силки нужно доглядеть.

Они постояли еще минуту.

— Контакт.

— Есть кантакт...

— Эх, он все кантарит, да кантарит!

Спины охотников, черные полушубки и ушанки, слились с чернотой дебрей. Снова замолчала нежить. Стало скучно. На миг показалось — не одолеть.

Мотор внезапно бухнул, взял, как ни в чем не бывало. Бронев следил за вехой, поставленной на той черте, где аэроплан должен был оторваться от земли. Бронев потянул рычаг. Аэроплан подпрыгнул и тяжело провалился: скорость была мала. Бронев убрал газ. Разгоряченный спущенными удилами, юнкерс едва остановился у стены елей.

— Выкини медведя? В нем полтора пуда лишнего весу! — заорал Авиахим.

— Ну, тогда сам садись за рули, — упрямо повторил пилот и повернул к старту.

Медвежонок, почуяв, что дело неладно, упорно лез в окно.

— Ну, местечки, местечки...

Были ветра северных румбов. Пилот уловил порыв по сильнее, бросил самолет навстречу. Самолет оторвался дальше намеченной грани. Впереди, как смерть, мчались пятисаженные вершины. Зверем выл мотор. Высотный газ. На крутой волне вверх взмыл светлый, могуче выровнял крутые крылья. Внизу стремительный хаос. Узлов заметил улыбку. Это было так ново: не на земле, а в воздухе он впервые ощутил безопасность.

Едкий густой дым пошел от мотора. Смолистый таежный пожар. Бронев глотал дым, сжался, как хищник перед прыжком. Горело масло. Если огонь перейдет в карбюратор... Дым вдруг исчез. Бронев отдал рули, написал. — «От высотного газа лопнул один из поршней. Масло выгорело и потухло. Теперь долетим».

— Ну местечки, местечки...

Впереди за хвойным океаном — зеркальная полоса реки. В излучине, у яра, кочка города. Там — пристань.

Медвежонок был изумителен! Он замолк, лишь только аэроплан вомчался в синь. Оглушил ли его сверхъестественный вопль мотора или напомнил голос водопада? Мед-

вежонок лизал кожаную ручку кресла и урчал про себя, точно у вымя большой медведицы.

Пилот закружился — «для агитации» — над городом. Поворот руля и Сиворжова нет. Бронев смеялся. Еще круг, снижаясь. Над городом звенело небо. Муравьиные человечки сыпались из дырявых нор. Семьи вваливались в телеги. Все — в поле, к магическому белому кругу. Накручивал педальки неподвижный велосипедист. Девонька потеряла сандалию, схватила, бежит: одна нога обута, другая босая, сандалия в руке. Всполошился базар. Воз картошки, воз муки, воз капуста. Вскачь! Как цеппелины, двинулись стога сена...

— Садись! Садись! — орал Бочаров. — Весь аэродром займут! Скорее!

Бронев подвинул левую ногу и вот — муравьиный поток отстал. Аэродром был ровен и обширен. Бронев зарулил навстречу красным знаменам и крикам. Бочаров отвязал медвежонка, открыл дверь. Медвежонок выскочил первый, затукал коготками по дюралюминиевым перьям.

— Ура-а-а! — закипел Сиворжов.

Товарищ Сомов, председатель окрисполкома, в парадном пиджаке поверх косоворотки, взобрался на крыло, обеими руками тряс руку Бочарова.

— Благодарю...благодарю...настоящее спасибо! Наконец-то...наконец- то... в наш медвежий угол... медвежий угол...

— Медведь прилетел! — dokonчил Бронев.

Вокруг широких, как ковер-самолет, крыльев, — забор голых ног, цветных юбок, кофт, рубах, лошадиных морд. Крики, подзатыльники, кутерьма. Мечется комендант аэродрома, расстегнул френч, в руке синий, с красными краями, авиационный флаг на изломанном о чью-то голову древке. Вея мандатом, протиснулся руководитель курсов по переподготовке учителей: «Позвольте, с общеобразовательной точки зрения, посмотреть в аэроплан!». Руководитель был худ и редковолос, он имел в виду пассажирскую кабинку. Нестягин стал объяснять, что там «нет ничего интересного», но увидел струю жадных девичьих лиц, позволил. У аэроплана выстроился хвост, равный всей эпохе продоволь-

ственных карточек. За учителями полезли школьники, за школьниками — братья, сестры, отцы, матери, дедушки и бабушки. Лазили, пока не отломили алюминиевой подножки. Заглядывали молча, торопясь, как раньше в плащаницу. В кабинке валялись пустые бутылки, кульки, полущубки, листовки, всякая дрянь — точно вскрытые мощи.

Бронеv заявил, что круговые полеты придется отложить: надо переменить поршень. Сомов размахался, сказал, что «все равно», что никаких занятий в городе нет, что сегодня весь день праздник.

— Товарищи сиворжовцы! — зычно возгласил Исполком. — Нынче, с двух дня, назначаются платные и бесплатные полеты. Цена билета: для членов Авиахима 2 рубля, для частных граждан — 5... Товарищам летчикам — ура!

— Ура-а-а!

Экипаж юнкерса был внесен в тарантасы, для отправки на приготовленный со вчерашнего дня пир. Нестягин остался, сумрачно попросив прислать еды. Ему надо было вылечить мотор, выручивший самолет из таежного плена, ценой увечья.

— Брось! — потянул Нестягина комендант, — розовый, как именинник. — Дело не медведь, в лес не убежит.

Но железный доктор был тверд.

.....
.....

Утром «Исследователь» помчался на юго-запад, в Новоленинск, к людным веселым местам мира, к более теплым и легким слоям воздушного океана. По пути «Исследователь» спускался на темное дно мира, у больших и богатых сел. Здесь Нестягин полюбил нового пассажира, потому что деревенские ребята предпочитали его пушистую шкуру жесткому оперенью самолета, забывали про самолет. Здесь Бочаров набрал еще сотню деревенских авиапрозелитов. Здесь деревенские хозяева подходили к волшебной

птице деловито и любовно. В записной книжке Узлова осталась следующая запись:

— Эх, — говорят, — и ловко! Все в своей препорции. Я так полагаю, что скоро нам никакой конской силы не надо будет. Старики, вот, не верят: «Заливать», говорят. А оно всяко бывает. Бывает, что и медведь летает. Да!

III. Белый круг

Не может человек быть спокойным. Он счастлив только тогда, когда преодолевает.

Начался перелет на Гавайи, не удававшийся еще никому. Теперь он должен был удалться. Ради него высохшие от мысли профессора сконструировали эти экономнейшие двигатели ИМС, в основе которых таились чертежи одного русского изобретателя, не добившегося, за недостатком средств и образования, никакого успеха. Шрэк был осторожен. Он не боялся за моторы, но мог подуть встречный ветер и тогда бензина не хватило бы. Поэтому экспедиция долго выжидала восточного ветра.

В первое утро пути, в чистейших тонах синих эмалей, на «Warnemünde» было принято радио — обычные аэронавигационные сведения и краткий перечень важнейших событий за день. Была среда 10-го июня. Радио сообщало о том, что произошло в Европе в среду 10-го июня после полудня. Пилот, только что продравший глаза вместе с тропическим солнцем, совершенно точно знал, что случится в тот же день вечером. Он знал, что в 14 часов советско-американский договор будет подписан и что по этому поводу скажет м-р Форд. Это не было ново, но пилот, надев слуховые раковины, улыбался, отмечая певучие тире и пуанты...

Ит-Кулак принес панты, но Кунь-Коргэн не был спокоен. Станные слухи шебаршили по Алтаю, как черные духи, кара-кормбсы. Старик даже не мог понять, о чем их ядовитая речь. И он также хотел знать утром, что случится вечером. Он оседлал рыжечубарого и уехал высоко, чтобы поклониться священным вершинам. Сердце его ударяло в голову, как волны, и он молился:

«Бог создал ваши головы с вихрями,
Что же мне делать, великий Алтай?
Отец мой, ясный Ульгень,
Вознесший горячий огонь свой,

Поставивший три очага,—
Дай золотое решение!
Седеющую голову мою сделай спокойной!..»

Но не может человек быть спокойным.

.....
.....

Двенадцать новеньких ди-хэвиляндов с моторами «Либерти», завода «Большевик», реяли над Новоленинском. На крыльях — красные звезды.

Четыре бысролетных биплана обогнали «Исследователя», раскачали на резких своих волнах, — отсалютовали. Внутю была игрушечная модель города; но никто из игрушечных обитателей не бежал, как заводной, к пружинке белого круга, никто даже не поднял головы: столица!

«Исследователь» снизился в пустом безмолвии гигантского аэродрома. Участники перелета по телефону, как с вокзала, вызвали автомобиль. Приехал служащий Авиахима, подал два желтых лоскута-телеграммы. Одна была Бочарову от Климова, в ней сообщалось, что Артамон Михайч привез членские взносы со всей деревни; другая — Броневу, от брата. Эрмий Бронев сообщал, что завтра экспедиция вылетает из Пекина. «Кобдо и Сибирь!» — завертелся пилот, — «Семен Семеныч! мы тоже должны вылететь завтра! Иначе — прощай, мой Ермошка!». В автомобиле начался крыловский квартет, каждый тянул в свою сторону. Нестягину нездоровилось, он просил отдыха. Узлов был принужден сменить блистающий мир полета на стирку грязного белья рукописей, подобно тому, как Мартин Идэн менял сухой жар своей одинокой поэзии на зловонные испарения прачечной. Бочаров упирал на необходимость «увязки» обещанного им свиданья братьев с агитполетами. Медведю было все равно, но он был голоден и шумел больше всех. Прохожие останавливались.

Город строился. Городу едва тридцать лет. В городе почти нет стариков. В городе закладывали очередную сотню зданий, чадили асфальтом, разрывали улицы под провода и трубы. На углу Красного проспекта и улицы Горького, на том месте, где была единственная в городе часовня, каменный встал Ленин. Каменная рука была протянута вдоль проспекта, на юго-восток. В таких городах неуютно и весело жить, в таких городах возникают большие мечты и большие дела.

В номере гостиницы «Сиб-Чикаго» летчики рассматривали карту бывшей Алтайской губернии. На карте были отмечены аэродромы. Бронев бормотал: «Идут, идут по земле эти белые круги». Бочаров хвастался: «Мои ойратские авиахимики, прослышав о маршруте кругосветной экспедиции, поставили крут в трех подходящих местах долины... — на всякий случай». «Ну, это, пожалуй, зря», — покачал головой Бронев, — «неизвестно, что это за подходящие места». — «Что ты, чать, я послал инструкцию...» Бочаров ставил условие: пролететь завтра вдоль южной железной дороги до Алаша, сделав по пути четыре посадки в крупнейших пунктах; в Алаше переночевать и утром вылететь в Бийск, навстречу немцам. — «Ты — черт, эксплуататор!» — сказал пилот. — «Ну, погоди, повидаясь с братом, буду отдыхать неделю!»

На рассвете Бочаров заехал за авиаторами, но их комната в «Сиб-Чикаго» была пуста. В первый раз он обручился за такое неслыханное рвение, помчался на аэродром. Лица авиаторов были бледны и грязны. Бочаров провел ночь дома, в семье, впереди была опять небесная карусель. Отвечая домашним своим мечтам, Бочаров спросил: «Неужели тебе и Лидки не жаль?» — «Что я, из-за бабы...» — усмехнулся Бронев. Медвежонок скулил, привязанный к своему креслу. Бочаров влез в кабину, он был один, но ему стало тесно. На сиденья были навалены шины, амортизация, запасные части. — «Зачем весь багажник в кабине?» — Нестягин почему-то покраснел. «Так правильное нагрузка», — официально ответил Бронев. — «И легче разгружаться при круговых полетах...»

Рос жаркий июньский день. С юга, из среднеазиатских пустынь, как из крематория, дышал сухой знойный ветер. «Исследователь» летел навстречу зною. После трех остановок, отчаянной «болтовни», жары, жажды, водки, просьбы остаться, «покатать» еще, — экипаж юнкерса обнаружил, что у него не головы, а стальные цилиндры, где под давлением множества атмосфер непрерывно взрывается горячая смесь. — «Что это Туркестан?» — жаловался Нестягин. Он не мог отказаться ни от галстука, ни от непромокаемого плаща, ни от погони за осквернителями священной территории аэродрома. — «Это против моих убеждений, Семен Семеныч, но как же иначе?» — уныло повторял он. — «Вот, несовершенства ради человеческого и существует она, — власть!», — с грубоватым партизновосходством подсмеивался Бочаров и прибавлял: — «А мне тоже, что-то того... Показалось вот, будто эта самая, Лидка, здесь. Почему? С чего?.. Жара». Перед отлетом в Алаш, рубцовские авиахимии соблазнили Нестягина холодным душем, он ушел в железнодорожную баню. Бочаров ждал и ругался два часа, пошел сам, видит: механик сидит голый, на него льется вода, спит. — «Пора! пора!» — закричал Авирахим. — «Как? что такое?» — забормотал железный доктор. — «Нет, рассчитывайте меня: это не механик, который спит». — Потом, у мотора, он долго не мог найти нужного ключа. Ключ нашелся в углу, под медведем. Было поздно. Мотор не запускался. Но, от гнева и упрямства, Бронев все-таки вылетел — в сумерки.

До Алаша было 130 верст, аэроплан летел против ветра, летел целый час. Внизу была степь, геометрические линии оросительных каналов и опять — степь, пустынная, как небо. Сгорали угли заката. Ночь юга шагала, словно марсиане Уэллса. Черный дым туч навис над черным дном. Город был в желтых звездах огней, в черных зеркалах Иртыша, в черных зарослях карагачей. На аэродроме пылали громадные «ночные костры». Пламя выхватывало черные струи толп. Нестягин начертил в воздухе виселицу — «телеграфные столбы». Бронев кивнул. Аэроплан пошел на посадку. Тьма. Молнии. Азиатская пыль.

Толпа внизу бесшумно разваливалась, точно карточные солдатики, от неслышного вихря. Аэроплан коснулся земли у линии костров. Их пламя вздымалось вверх, к зениту. Они промчались мимо, как библейские столбы. Грунт был мягкий, песчаный. Аэроплан мягко подпрыгивал, мчался вперед, в пыльную муть. Бронев держал руль прямо. Вдруг впереди метнулась толпа. Бронев остановил пропеллер: на месте схлынувшей толпы — мороженщик со своей тележкой и силуэт двугорбого верблюда, запряженного в арбу. Миг — и не стало ни мороженщика, ни верблюда, ни арбы. Правое крыло взлетело, — глухой треск, — аэроплан перекачнулся, — зарылся в песок. Рули поднялись к небу, как вопль.

— Так... разумеется... телега, — сказал Бронев.

Нестягин скатился вниз, обежал самолет, кричал:

— Все цело, все цело! Только болт! болт!

Гул и пыль и черные орудия тени.

— Летчики-то, летчики-то: насмерть! — повизгивала баба.

Бочаров, ошалеv от встряски, схватил ее и поволок «за распространение ложных слухов», но увидев начальника милиции, бросил бабу, принялся ругать милицию. Бронев оттащил его к самолету. Под крылом, на деревянных обломках арбы, в шубе и малахае, неподвижно лежал киргиз.

— Убили, ведь, черта, убили! — наклонился пилот. Потная муть мира стала просачиваться в его череп.

В темноте, оттесняя толпу, комсомольцы запели свою «Молодую Гвардию». Мертвец сел, перевернулся на четвереньки и нырнул в ночь. Помятый верблюд захромал за хозяином. Тогда Нестягин протянул руку в разорванную обшивку крыла.

— Лон-же-рон... — выговорил механик.

Одна из цельнотянутых дюралюминиевых труб, на которых держатся несущие поверхности, была сломана. Восстановить ее, в таком городе, было невозможно.

— Как же теперь?... товарищ Нестягин!.. Ермошка... — заволновался Бронев.

Они стояли, держа друг друга за руки. Железный доктор сжалился.

— Ну, как-нибудь... сделаем надставку из железной трубы... Это можно... Найдется, наверно, труба... Только, чур: сегодня выпасться!

Бронев сказал, что будет работать вместе, что всегда будет помогать, что никак-никак он не может пропустить Ермошку.

Вдруг он услышал вой забытого медвежонка и в медвежьем вое другой, высокий, женский. Бронев метнулся в аэроплан, убрал спинку задних сидений, отделявшую багажник...

— Жив! Андрюша! Что случилось! — кинулась к нему девушка. Она вся тряслась мелкой нервной дрожью, плакала.

— Ну, что ты, дура? Ну, перестань, дура. Эх, дура! — ласково утешал пилот.

Медвежонок, от нетерпения, подгребал авиахимовские листовки. Бронев отвязал его, целуя балеринку, сказал:

— Подержи, милая... Я сейчас.

Медвежонок увлек Лидочку под крыло, к обломкам, заурчал.

— Собаку, собаку возьмите! — истерично закричала дама с гигантской гребенкой. — Кровь! Кровь лижет!

— Извините, сударыня, это не собака, а медведь и не кровь, а мороженое, — сказал Бочаров. — А вы не волнуйтесь: не ваше тут дело.

— Ай, укусит, укусит!..

Бочаров столкнулся с девушкой, державшей медведя. Она отвернулась. Бочаров стал пятиться, тереть лоб, потеть. Нестягин производил комсомольскую мобилизацию, чтобы опрокинуть самолет на хвост. Авиахим обошел аэроплан, забрался по наклонившемуся скользкому крылу в кабину. Сердце его нехорошо билось. Пилот лежал, свернувшись на коротком кресле, закрыв широкой грязной рукой глаза.

Бочаров присел рядом, на корточки.

— Слышь, — сказал он тихонько. — Я долетался до чертиков. Я опять увидел твою Лидку.

Под синей ясностью — весь нижний мир. Гигантский горизонт — остывшая морская сказка. Ясные края белков.

Позади остались орды кочевников, крик верблюдов, раскосые глаза, блестящие ужасом и восхищением... и весь запас покрывал, изодранных о лошадиные челюсти при посадке в Кобдо. Немец, начальник участка, был не виноват: кости натаскали монгольские волкодавы.

Змеиное тело Табык-Богдоула скрылось за правым крылом. Еще несколько минут свирепого натиска двенадцати лопастей и внизу будет новая часть света — Россия.

Эрмий Бронев улыбался. Впереди был Алтай, последнее препятствие на пути их триумфальной прогулки. Эрмий взглянул на капитана Левберга, сидевшего рядом, за параллельным управлением. Капитан откусывал кончик сигары, лениво поглядывая в синь. Он был уверен в моторах, как в своем сердце. Стрелка альтиметра поднималась над цифрой 4,—4000 метров. Винто-моторная группа аэроплана была рассчитана приблизительно на такую же высоту. Грудь жадно глотала редчайшую морозную свежесть.

Солнце, плывшее низко над восточными хребтами, еще не утратило пламенного цвета утра. В лиловых и голубых волнах, как позолоченные рога, вздымались вершины Белухи. Их зеркальные снега резко выбрасывались над кривой Катунских гор, подобно оледеневшей пене древней титанической бури. Внизу, по краю замасленного кожаного борта, медленно текла зеленая бездна. Редкие оранжево-розовые облака жались к синим и сияющим вершинам, словно развеванные клочья одной и той же дымчатой субстанции мира.

Снежные хребты придвинулись ближе. В лицо дохнул более суровый, сухой холод. Россия. Эрмий улыбался; — это высота вызывает невольную улыбку. Он нарочно уклонил-

ся от высчитанного курса, чтобы приблизиться к снежным пирамидам. Левберг покачивал головой, но был равнодушен. У левого края крыла заклебились льдистые скаты. Эрмий хотел сделать круг над одним из пиков; но на северных склонах были грозовые тучи, и авиаторы насторожились. В горном лабиринте молочно-зеленой нитью Ариадны вилась Катунь. Один из борт-механиков, радио-телеграфист, подал только что принятую записку: «Облачность два. Погода благоприятная».

Вдруг Левберг крикнул, протянул вперед руку. Второй аэроплан повернул — знак тревоги, — начал снижаться. Через минуту Эрмий летел над ним, вглядываясь в глубину. На самом дне, в середине яркого луга, глаз пилота сразу заметил белый круг — знак аэродрома, безопасности, отдыха. Аэродром в таком месте! Эрмий пожал плечами; но снижавшимся аэропланом управлял Шрэк, начальник экспедиции. Аэроплан Левберга нес основной груз тяжелых инструментов и запасных частей, — у Шрэка помещались два пассажира экспедиции: кинооператор-корреспондент-герр Грубе, и японский журналист герр Фукуда. Токио-Асахи и Осака-Асахи заплатили 50.000 марок за его перелет до Берлина, по 1000 марок за килограмм. Левберг кивнул головой. Рубчатое серебристые крылья мгновенно качнулись, наклонились на 45° в яркой, ярмарочной каруселью закружившейся, синеве. И человеческие тела, растворяясь с каждым мигом ускоренья, становились все легче, призрачнее, как падающие ракеты.

Медленно снижаются аэропланы в горных ущельях, но еще медленнее курит длинную трубку старый кам. Кунь-Коргэн курил добрый табак, подаренный попадьею из соседнего села за то, что духи открыли Кунь-Коргэну, куда пропал пегий поповский конь. Кунь-Коргэн ладит с духами больше, верно, чем русский волосатый шаман, который пускает дым в глаза побрякушкой и гнусавит по колдов-

ским книгам... Вот много хуже колдуны из «аймактын парткомы!»

Вчера в аил приехал сам аймачный председатель и с ним еще двое, все кызыл нокорлор, коммунисты из крещеных алтайцев, — не к добру. Кунь-Коргэн высмотрел, как они собрались в поле и весь день творили страшные заклания. Они намазали в траве большой белый круг, жгли костры и, встав лицом к мужской половине неба, махали руками. Кунь-Коргэн заметил, что скот боялся перешагнуть заколдованный круг, бежал в горы.

— Буду камлать Ульгеню, отведу беду, — подумал Кунь-Коргэн.

Сапыш дернул отца за пустой рукав спущенной с плеч шубы.

— Что же сделал Аин-Шаин-Шикширгэ?* — спросил Шаранай, парнишка старика Четаша.

Кунь-Коргэн рассказал сыну о тех временах, когда солнце грело жарче, месяц светил ярче, когда вовсе не было русских на родном Алтае, когда земля рожала великих богатырей...

— Думает Тойбон-хан, — заговорил Кунь-Коргэн, — как ему погубить витязя? Пошлю, думает, его в смертное место. Аин-Шаин-Шикширгэ возвратился домой: «Здравствуйте, отец и мать! Здравствуйте две равные сестрицы!» Две равные сестрицы поставили золотой стол о шестидесяти шести углах, подавали девять тажууров аракы, клали еду «алиман-чикыр». Голодный стал сытым, усталый стал жиреть, лег и заснул. На девятый день пришел ханский посол. «Завтра утром пойду» — говорит Аин Шаин-Шикширгэ. Приходит утро. Седлает огненно-рыжего коня Илизина, кладет на него золотое седло величиной с лут, подтягивает шестьдесят шесть подпруг, надевает ланцырь о девяносто девяти пуговицах. Меч блестит, как лед, за спиной — арагай, лук. Загрел по горам, зазвенел железными копытами. Твердый камень превращается в россыпь, твердое дерево превращается в труху, дрожит синий Алтай! При-

* Аин-Шајын-Шікширгә.

езжает к Тойбон-хану. Шестьдесят богатырей ведут коня Илизин-Эрена к железной коновязи, семьдесят богатырей поддерживают наездника. Говорит Тойбон-хан: «много народу сожрал шестихвостый Карагула, много проглотил Кербалык. Остался народ на счету, остался скот на счету. Обсудили дела с девятью благородными зайсанами, решили — покамлаем, чтобы умножился народ, чтобы умножился скот. Ты в моем народе первый, съезди за старухой Кам-Эмэгэн, что живет в верхней области». «Куда деваться? Поеду!» — говорит Аин-Шаин-Шикширгэ. — «Пущенная стрела от камня не возвращается, посланный с дороги не возвращается». Велел Аин-Шаин-Шикширгэ ставить араки, велел крошить мяса. «Пируйте», говорит, «пойте песни. Я буду сидеть, потом исчезну». Встал на белый ковер, поднял руки, закричал: «Уч-Курбустан, Куда-й!» и видит — кочевые облака, будто белые верблюды, внизу. Остался Аин-Шаин-Шикширгэ без чувств. Очнулся — не видно Алтая, сидит в верхней области. Обступили его добрые боги: Каршит, Бахтутан, Атаган, Коко-Монко и Кара-Куш. «Не по своей воле явился я, — говорит Аин-Шаин-Шикширгэ, — а по приказу Тойбон-хана; белый скот у нас пропал наполовину, народ пропал наполовину, иду звать старуху камлать». «След твой к ней будет, обратного следа не будет, — съест тебя Кам-Эмэгэн!» — говорят боги. «Пущенная стрела от камня не возвращается, посланный посол с дороги не возвращается». Где положено умереть — умру, куда направился — пойду». Достал из кармана огненно-рыжего коня Илизина, расколдовал, сел верхом, приехал к белому дворцу, что у белой реки, под белой тайгой. Входит невидимый. Сел между двух дочерей старухи и опять его видно. Одна девица бросилась в дверь, другая в дымовое отверстие; схватил одну за ноги, другую за руки, говорит: «Не бойтесь, дети! ищущая себе суженую, кто из вас за меня пойдет?» Ну какая девица откажет витязю! Старшая говорит: «Я пойду», младшая говорит: «Я пойду». «Когда вернется мать?» — спрашивает Аин-Шаин-Шикширгэ. «Семь лет уже не возвращается», отвечают, «а вернется в виде царь-птицы, Каан-Кэрэдэ. Сначала от ее крыльев повеет ветерок, потом услы-

шишь дождь: табыр-тобур-ямгыр-келер — это будут падать капли пота с ее крыльев»... Вот подул теплый, теплый ветерок. «Если мать наша вернется, то проглотит нашего суженого», горюют девицы. Аин-Шаин-Шикширгэ спрятался, лег под белосерого коня, в виде помета. Пошел дождь — «табыр-табур». Крик Каан-Кэрэдэ был слышен у основания неба и земли. Его луновидные крылья были, как горы, голени толщиной больше обхвата, два глаза похожи на град...»

Сапыш дремал, пригревшись на солнце. Теплый южный ветерок, пахнувший маральником, веял в его лицо. Порог Катуня шумел вдали, как дождь — табыр-тобур-ямгыр-келер. От поповского табака голова приятно кружилась. Потом стало казаться, что не только голова кружится.

— Ух и злой табак!

Порог Катуня гудел то в правом ухе, то в левом, вздымаясь куда-то к самому небу. Сапыш скосил глаз кверху. Гремя луновидными когтями, плавно кружилось чудовище, крик его был слышен у основания неба и земли, крылья закрывали горы, два глаза были, как град.

Сапыш взвыл, взвыл Шаранай, перевернулся, зайцем пустился в аил. Следом, помолодев от страха, мчался старый кам.

— Калак, калак! Беда! Каан-Кэрэдэ!

Эрмий видел, что Шрэк спустился благополучно. Посадка была очень трудной, подступы к аэродрому загромождались каменными обвалами, горами и лесом. Эрмий возбужденно расширил грудь. У него было несколько любимых призов за точность спуска. Случай показать свое искусство был любопытный. Эрмий скользнул над аилом (дырявые берестяные юрты — азиатка мчится, как мышь от ястреба)... — над густой волнистой хвоей кедров и коснулся земли с таким расчетом, чтобы остановиться у белого круга. Левберг одобрительно ухмылялся; но когда круг подле-

тел совсем близко, Левберг вдруг неистово замахал руками, закричал. Эрмий выключил мотор, убрал газ. В тот же миг в глухую свистящую тишину ворвался другой тревожный, как удар набата, резкий звук. Аэроплан подпрыгнул, клюнул носом и с грохотом перекачнулся на хвост.

— Правое колесо! — крикнул Левберг.

Из густой веселой травы торчали острые обломки сланца. Эрмий заметил их сверху и тотчас же подумал, что это пятна пролитой извести. Камни были в черте круга.

— Круг поставлен на самом опасном месте, — розовея от негодования, крикнул Эрмий.

Немец спокойно ругался, осматривая машину. Колесо скрутилось, точно выжатое полотенце, крышка зацепилась за каменный коготь и разорвалась пополам. Запасных крышек не было, значит приходилось застрять.

— Черт, — сказал Левберг.

Герр Грубе вертел ручку кино-аппарата, вертел объективом, вертелся сам. Сенсация!

— Черт! — погрозил ему Эрмий.

Герр Грубе не слышал. В страшной своей спешке, перебегая от аэроплана к аэроплану, герр Грубе зывал:

— Где же дикари, где дикари? Герр Бронев, позовите сюда дикарей! Скажите, что я дам каждому полметра медной проволоки!

Эрмия поразила прекрасная благоухающая тишина. До сих пор их встречал весь мир. Толпы вытаптывали траву вокруг их машин; гул приветствий был, как прибой. Молодые девушки приносили цветы и взгляды, от которых неподвижные предметы начинали кружиться... И в самом центре этого яркого вихря был он — победитель! Здесь цветы росли в поле, и аромат их поглощал дикий азиатский запах теплых смол. Ни один звук не примешивался к прозрачному воздуху гор. Мощно грело солнце. Эрмий сбросил шлем и черную меховую куртку.

Из леса скорым шагом шли четверо. На них были русские рубахи, полотняные штаны, сапоги. Мужики остановились поодаль, громко переговариваясь, как всегда гово-

рят в присутствии глухонемых и иностранцев. Один был русский, трое — скуласты, смуглы.

— Я слушаю, — растяпо говорил русский, — што такое? — Кыркырды-кыркырды!.. Тут ишшо колдун ихний лупит: беда, орет, птичий хан прилетел...

У азиатов за скулами не видно ушей. Эрмий невольно закричал:

— Кто намазал здесь крут?!

Пришельцы сразу замолчали, раскрыв рты. Так, должно быть, каменели богатыри древних былин, когда птицы вдруг начинали говорить человеческим голосом.

— Кто здесь старший? — снова спросил птичий хан.

— Моя присидатель, — робко сказал азиат.

Русский вышел вперед.

— А мы полагали, вы немцы... Аннако, может и впрямь немцы, тока по нашему понимаете. Старший он выходит, председатель аймачный — Иван Иванович. Энти алтай-киджи — члены: Ерконов и Тенгереков. А я, значит, Авиахим буду.

— Када летишь? — спросил Иван Иванович.

— Када, када! — обозлился Эрмий. — Кто здесь круг намазал, скажите лучше?

— Мы, — с достоинством сказал «Авиахим».

— Зачем же вы поставили круг на самых камнях? Нарочно, что ли?

— Так што согласно инструхции. В бумаге сказано: поставить посередь круг, а у камней и ям — стрелки. Ну, на стрелки у нас известки не хватило, а камни тут как разazole середки. Так што мы и поставили круг, штоб лучше было видно.

— Круг на камнях, чтоб лучше было видно! Негг Levberg!

Подошел Шрэк, отражая лысой чисто-выбритой головой горное солнце. Крепкие морщины пересекали лоб знаменитого пилота аэронавигатора, в колючих подстриженных усах была седина, но светлые глаза блестели кусочками неба, юности, неисчислимых приключений. Весь он был твердый, овейанный чистым воздухом, ясный.

Эрмий вдруг не выдержал, рассмеялся.

— Черт вас дернул спуститься!

— Раз я вижу аэродром и у меня лопнула свеча... — начал Шрэк.

Эрмий рассказал об изобретательности аймачного комитета, сберегшего известку. Немец, для приличия, выругался на нескольких языках, вдруг засиял снова, придавил плечо Эрмия жесткой рукой. Он сказал, что «все к лучшему», — «по крайней мере весь мир будет знать, в каких условиях мы летаем», что Эрмия, конечно, «ни один дурак не обвинит в задержке». Да и задержки не будет. — Он вышлет из этого, «как его? — Виски-Биски — пару покрывшек с верховым. Покрывшки придут послезавтра утром». Он обещал подождать за Уралом в Демске, сделать там последний просмотр моторов. Левберг же должен был заняться моторами здесь, чтобы потом не останавливаться.

Демск был родным городом Бронева. Выбор Демска для устройства одной из баз на пути перелета был сделан под его влиянием. Ему хотелось провести там день, два. План Шрэка ему не улыбался; но в словах немца была крепкая логика. Дело прежде всего. Эрмий промолчал.

— Nun gut! — кивнул Левберг.

После того, как один из Каан-Кэрэдэ улетел и в поле остался только его хромоногий брат, жители Акмала пошли смотреть чудовище. Горцы подходили не сразу, круг их неподвижных глаз становился теснее. Они смотрели на машину, выстаивая часы, с непонятным для горожанина упорством. Летучие люди оказались вовсе не страшными: они покупали кумыс, творог, яйца, хлеб и платили, сколько спросишь. Цены на Акмалской бирже, окрыленные, поднимались все выше. Кунь-Коргэн и Сапыш приехали верхами, на всякий случай, — Кунь-Коргэн на любимом своем рыжечубаром коне, Сапыш на чалом. Кунь-Коргэн подъезжал к железной птице спиралью, на девятом завитке оста-

новился. Шаранай подскочил, говорит: — «Темир-Куш будет ждать новой ноги. Я теперь знаю, как летать. Вот я бы тоже мог летать, потому что я очень верткий...» — Но авиаторы сидят на своих низких сиденьях, пристегнутые ремнями, и всегда испытывают потребность размяться. Эрмий Бронев увидел лошадей, спросил:

— Сколько возьмешь покататься, гражданин?

— Целковый! — сказал Кунь-Коргэн, и сам зажмурился от такой цены.

Птичий хан, не моргнув, достал целковый, отдал Кунь-Коргэн спрыгнул, засмеялся.

— Бери чубарого, друк, это мой коилга!

Сапыш подержал стремя...

Эрмий пустил коня по тропе.

Хвойный лес окружил его тишиной. Не было в этом чудесном лесу ни птиц, ни таежного гнуса. Только бесшумные бабочки порхали на полянах, словно легкие капли солнца. Тишина была почти болезненной для слуха авиатора. Он прислушался, повернул на призыв прохладного плеска. Тропа потянулась вдоль ручья. Сказочные травы поднялись из сырости, выше головы всадника. Эрмий долго ехал шагом в этих фантастических зарослях, осторожно раздвигая их мягкую пахучую грудь. Рыжечубарый, не наклоняясь, хватал еду.

Тропинка раздвоилась, Эрмий повернул на кручу, к невысокой горной гриве. Здесь, из травы и скал, поднимались могучие стволы лиственниц. Ветви простирались к югу, к открытым просторам, словно руки, окаменевшие от красоты Алтая. На юг с гривы — голубая даль, далекие белки. Внизу, под ногами рыжечубарого, текли зеленые долины горных речек. Рыжечубарый медленно ступал по узкому бому. Эрмий не правил. Кони горцев осторожнее людей, надо только, чтобы лошадь иногда чувствовала повод. Между камнями борма росли нежно-зеленые головки сараны, вдруг встречались блестящие кожистые коврики бадана, цвели ирисы. Эрмий, как на аэроплане, смотрел через плечо в пропасть.

Рыжечубарый остановился. Против него, на повороте, лоб в лоб стояла вороная лошадь. На ней сидела верхом светлокожая девушка, одетая в кожаную куртку и короткие синие штаны. Остриженные, выше плеч, русые волосы покрывала мужская кепка. Эрмий старался притиснуть рыжечубарого к скале, чтобы дать дорогу.

— Что вы здесь делаете? — спросила девушка.

Она была похожа и непохожа на тот отвлеченный образ, что иногда возникал у него в дни редких просветов между гулом моторов. — «Какие же они теперь... русские...» подумал он и ответил, несколько растерявшись, шуткой:

— Я... так сказать, сию на мели.

— Нет, серьезно, — сказала кожаная куртка. — Вы проезжали Акмал?

— Я еду из деревушки туземцев, там, внизу... Если она называется... Как вы сказали?

— Что там случилось? — перебила девушка.

У ней были чуть голубые радужные оболочки глаз, с очень ясными кружками зрачков, загорелое лицо, мягкие губы. Эрмий выпрямился на стременах, забыл свое тело. Он старался продлить встречу.

— Кто вам сказал, будто там что-то случилось?

— Попался алтаец, потом еще один. «Эзень», — скажут, — «что нового?» и начнут рассказывать разные чудеса. Теперь, наверно, всполошили несколько айлов.

— Понимаю, — сказал Эрмий... — Дело в том, что в айле ничего, кажется, не случилось. А вот корабль мой потерпел аварию, наскочив... на риф!

— Опять вы дурака валяете! — очень презрительно сказала девушка.

— Позвольте представиться, — обозлился Эрмий. — Я один из авиаторов кругосветной экспедиции — Бронев.

Девушка помедлила, приоткрыв рот, глаза ее залучились по-другому, обида Эрмия исчезла.

— Так это вы и есть Каан-Кэрэдэ!

— Что?

— Вы совсем не похожи на чудовище, однако!

— Ну, теперь вы валяете дурака, — улыбнулся Эрмий.

— Каан-Кэрэдэ, — мистическая птица алтайских легенд! Теперь все ясно: они назвали ваш аэроплан «Каан-Кэрэдэ»!

— Канкердэ?

— Давайте я вам запишу, напутаете!

Он повернул рыжечубарого, протянул блокнот. Вороная лошадь пошла рядом.

— Академическая транскрипция этого слова такая: «Кан Караца», — «а» произносится протяжно. «Кан» — значит: хан, царь. Так говорил, по крайней мере, руководитель нашей экскурсии.

— Вы курсистка?

— Какие у вас допотопные слова! Я учусь в Москве.

— Ну, все равно, вы — ученая женщина. Расскажите мне про вашу птицу. Журналисты скажут вам спасибо.

— Нет, я знаю немного. Поэтому я и помчалась в Акмал, чтобы послушать рассказы алтайцев. Это очень поэтический народ. Художник Чорос Гуркин говорил мне, что Каан-Кэрэдэ принес от светлого бога Ульгения первый шаманский бубен. Мне хотелось проверить эту версию. Обычно, Каан-Кэрэдэ в алтайском эпосе — страшное крылатое чудовище. Алтайцы называют этим именем герб двуглавого орла и карточный туз. Вот еще называли ваш аэроплан... а, может быть, сначала в самом деле приняли его за Каан-Кэрэдэ!... Ах, надо знать алтайский эпос, чтобы понять все это: аэроплан, современность и тысячелетие — «Каан-Кэрэдэ»! Поедемте!

Лошади пошли друг за другом, спускаясь по краю пропасти.

— Я был во всех частях света, кроме Австралии, — сказал Эрмий. — Я много видел, но это правда: в этих горах есть своя красота, значит, и поэзия... Вы не думайте, что если я человек-машина, то я в этом совсем ничего не понимаю.

— Ну! — отмахнулась она.

Быстрые тучи закрыли долину, пошел крупный теплый дождь. Девушка показала скалу, нависшую над бомом, они связали лошадей, прижались рядом.

— Послушайте! — сказала она, — ведь кругом Света летят немцы, а вы...

Эрмий стал рассказывать о себе.

Человек спустился с неба, сидел рядом, спокойно говорил. Он не думал, что жизнь его — новая тысяча и одна сказка Шехеразады, — жизнь была обыкновенная. Из-за слов грохотала война, первые проклятые бои в воздухе, когда человек учился летать, когда надо было сбить противника, протаранив колесами верхние поверхности его биплана. Потом в России, как в воздухе в жару, настала «болтовня» — качка — от слишком разгоревшейся крови, должно быть. Южный фронт—Брест—Украина—Киев — время летело с киноскоростью, также летели неисчислимые власти, имена, правительства. Он говорил шутливо: «Я не женщина, я не ел от древа познания добра и зла, как мне разобраться, кто прав?». Ему сказали, что враги — вовсе не враги, ему было все равно, он хотел жить. Жизнь, незатухающие волны жизни, излучались в нем, из него, с победной и сладкой силой. Он скоро выдвинулся своим смелым полетом, своими точными петлями, штопорами, восьмерками, виражами; а когда мировая болтовня притихла, когда машины стали лучше, он полюбил скитаться — инструктором, организатором-летуном — по мировым аэролиниям, всюду, где жизнь скапливалась гуще, куда тянулись присоски капитализма, где было больше солнца или угля, золота — все равно. Человек говорил не о себе, — он неподвижно сидел рядом, он рассеянно взял ее руку, держал в своей руке, она была покорна, — он говорил о китайских толпах, о полисменах индусов, об удивительных костюмах китайских артистов, о разноцветных шелках; говорил, как переправляются через Инд, на козьих мехах, которые надо надувать ртом, а руками грести и обязательно, когда дуешь, забываешь грести, когда гребешь — забываешь дуть и тонешь; о женщинах Египта, одетых в темные балахоны и покрывала, в 150 Фаренгейта, о нагих женщинах Гавайских островов...

Тогда Эрмий ощутил, что у него горят щеки, что он, не замечая, напряженно подыскивает удачные фразы, образы, мысли, достает из пещер памяти ярчайшие самоцветы.

И ощутил, что все это потому, что рядом с ним — ясноглазая девушка. Он сказал ненужное:

— Простите, я до сих пор не знаю, как ваше имя, отчество?..

— Зоя Емельяновна. Старожилова, — ответила она неохотно. — Можите не величать: *мы* этого не любим. — Она улыбнулась. — Здесь мое имя переделали на татарский лад: *Заидэ*.

— Я буду называть вас Заидэ, — хорошо?

— Каан-Кэрэдэ и Заидэ — подходит, — засмеялась девушка.

Он смотрел в ее глаза. Они были, словно антенна. Его голова слегка закружилась, будто он делал «штопор» с пятиверстной блистающей высоты. Лицо девушки, как земля на излете, стало близким, ресницы опустились, он смотрел на ее губы. В розовых кругах у ней всплыла заученная мысль: «Женщины скорее всего позволяют целовать себя иностранцам, артистам, авиаторам»... но ведь это был он, сошедший с неба — Каан-Кэрэдэ!

Киргизенок «отеля Казак-Стан» достал из малахая записку. Бронев прочел, бросил тиски, вытер пот.

— Ермошка тоже скапотировал, — сказал он, едва подавив довольную улыбку.

— Как! Что такое?

— Да так же, как мы... Ну, ничего, будет знать, по крайней мере, что это за *нашински аэродромы*! Я привезу ему покрывку.

Бронев протянул записку Нестягину. Писал Бочаров. Нестягин сидел на корточках, под крылом, в руках у него шипела и урчала паяльная лампа. Нестягин прочел, радостно взвыл, синий огонь заплесал фокс-тротт.

— Мы полетим в горы!

— В самую серединку!

Там впереди, в неизвестности, разворачивался синий дым туркестанских воспоминаний.

— Завтра утром машина будет готова! — поклялся Нестягин. — Я люблю горы. Наконец-то, горы!

Бронев дурашливо пропел, перевирая, новую местную песенку:

«Прощайте, Лидочка.
Прощай, периночка.
Отель прекраснейший Клоп-Стан!
Меня умчит от вас,
Надеюсь в добрый час.
А-э-ро-план...».

Он нырнул под крыло, оба замолчали, чтобы клепать, паять, свинчивать, красить...

Утром, окрестив наспех сорок немаканных авиахимиков, «Исследователь» помчался на восток вдоль северного склона алтайских гор. Бронев залетел в Бийск, взял из немецкой базы покрышки, налил бензина. Из Улалы телеграфировали: «Дождь. Вверх по Катунь линия прервана бурей». Горы, грозы и бури. Бронев торопился, у него был хороший спортивный подъем, хотелось доказать брату... «доказать» было бесформенно, словом, доказать! Медвежонка Бронев сдал на хранение секретарю окрaviaхима. — «Не могу рисковать молодой жизнью», — пошутил он, увидев, что Бочаров озабочен. «Исследователь» спрыгнул с крутого берега Бии, нырнул в облака, в тысячи голубых, зеленых, дымчатых просветов, вееров лучей, дождевых грив. Бия и Катунь — горные реки, здесь текли степью, горы были в облаках, Бия и Катунь замыкали обширную треугольную равнину, от острого угла, на северо-запад, могучим лучом уходила Обь. Внизу, словно плиты у ног наклонившего пешехода, мелькали десятины возделанных полей, тучная земля истекала зеленой кровью роженицы. Прошуршал дождь по крыльям, Катунь шла в горы. С высоты 1000 метров Катунь — светлая молочно-зеленая петлистая струйка. Берега — точно изумрудные россыпи. Из-за туч, в сол-

нечном ореоле, кивнула голова Бобырхана, — Алтай! Здесь развеселился ветер, налетели восходящие горные токи, раскачали аэроплан так, что Бочаров стал злиться, написал Броневу смешную записку: «Я очень просил бы не шалить». Бронев просунул в окно руки, показывая, что рули держит Нестягин. Нестягин был вне подозрений, «горки» были вне компетенции Авиахима.

В Улале в аэроплан сел председатель исполнительного комитета Ойротии — Иван Савельевич Алагызов. Был он мал ростом, улыбчив и прост, — говорил: «Чего бояться? На медведя ходил — не боялся, а здесь чего бояться»? Путь лежал прямо над Катунью, на юг. Аэроплан, постепенно набирая высоту, поднялся на 1800 метров над уровнем устья долины.

Здесь был совсем другой, подавляюще прекрасный мир. Безмерный, голубой океан гор, переливы дымящихся красок, литая лестница гладких голубых глыб — в бездну и облака. И выше всего, в лазури, — призрачная ранняя луна. Бронев, не отрываясь, смотрел на карту мира, сличая его с лохмотьями своей сорокаверстки. Иван Савельевич писал записки, называя родные места — Камлак, Узнезя, Эликманар — иногда, впрочем, путал, так все было непривычно с высоты...

Через час после старта Бронев увидел, на две версты вниз, алюминиевый блеск «Варнемюндэ». И тогда же Бронев понял, что «доказывать» здесь нечего, что «дай, господи, самому остаться с колесами». Он снижался очень медленно, вертелся в лабиринте долин и скал, ища подходов к зеленой лысинке с белым крутом. У Бронева было ощущение, как будто он не авиатор, а уличный акробат и канатоходец. — «Мимо не наступай!». Внизу по «аэродрому» бежал человек, бросил в четырех местах белые рубашки. Бронев сообразил: «Брат отмечает опасные пункты». Это его ободрило. Он полетел в том же направлении, в каком стоял «Варнемюндэ». Темная хвоя закачалась от вихря. В тишине выключенного мотора шаркнула о крыло мягкая верхушка сосны. «Исследователь» снизился «на три точки», рядом с немецким аэропланом.

— Ну, я привез тебе покрывку! — крикнул Андрей Бронев.

«Исследователь» стоял под каменной грядой, кругом были зубцы гор, лес и небо; к «Исследователю» двигалась толпа (пешком, верхом, на телегах). Горели красные кисти на малахаях, вспыхнул радостный рев, в газоотводной трубе в ответ — вспыхнул красный флаг, зацадил по ветру, как раздвоенный язык дракона.

Пламенное знамя было первое в мире, от него немцам стало тревожно, захотелось, чтобы все было также ярче, быстрее... Эрмий Бронев прыгнул на крыло, братья неловко, по-мужски, поцеловались: Левберг тряхнул руку, говорил: «Спасибо, мы получили радио»... — и потом к Бочарову — официальные комплименты Авиахиму, по поводу того, что он не раз оказывал помощь иностранным авиаторам.

— Ты записывай, записывай! — по привычке бормотал Бочаров; но корреспондента не было.

На самолет, с приветствиями, с поздравлениями, поглазеть забралось человек десять.

— Последнее крыло сломают, — ворчал Нестягин.

— Чего бояться? На медведя ходил не боялся, а здесь чего бояться? — рассказывал Иван Савельевич.

Он открыл митинг.

Горы, горы и лес. Шум Катунских порогов. Совсем сказочно зазвучала гортанная азиатская речь с трибуны Каан-Кэрэдэ! Больше всех волновалась Зоя: она понимала язык.

— Вы не знаете, — говорила она авиаторам, — вы не знаете, что это значит: аэроплан, Каан-Кэрэдэ, здесь, где такие легенды, такая религия, такая...

Андрей Бронев подмигнул, кивая в ее сторону:

— А у вас здесь, оказывается, не скучно!

Но брат промолчал холодно, стал объяснять, сбиваясь, что такое за птица «Каан-Кэрэдэ».

У Андрея Бронева еще не прошло опьянение полета; дурачась, он передразнивал Алагызова:

— Канкарды-Антанта, буштурды-Авиахим, дырдырды-целковый! Все ясно! Эдак и я могу...

Выходило похоже. Алтайцы смеялись.

— Ну, пойдем, поговорим, — сказал Эрмий. — Десять лет, кажется, не видались.

Они медленно пошли к середине луга. Андрей Бронев давно обдумывал, что скажет брату, как «намылит шею» за то, что он не возвращается в Россию, где так нужны опытные работники; но, как всегда бывает при таких встречах, братья заговорили о другом, близком: каким образом пропали покрышки, какая у них марка... «Варнемюндэ» стоял на деревянной подставке, борт-механики меняли колесо. Бронев невольно подошел к великолепной стройной машине. Он позабыл про недостатки своего брата.

«Варнемюндэ», JHE-4, сохранил рубчатое дюралюминиевое тело юнкерса; но его несущие поверхности были расположены выше фюзеляжа, как у фоккера. Три стационарных мотора ИМС, специального выпуска, по 200 HP, помещались симметрично — один в носовой части, как у Ю-13 и два в крыльях. Сжатие смеси в цилиндрах было рассчитано на очень разреженную среду, чтобы достичь нормальной мощности на значительной высоте, где вредное сопротивление воздуха меньше. Моторы сообщали самолету среднюю скорость в 250 км.-час. В случае остановки одного из моторов, можно было лететь на любой паре из них. С одним мотором аэроплан начинал медленно снижаться; но даже тогда у авиатора оставался запас в 50-60 километров горизонтального полета, при отправной высоте в 4-5 км. Ко всем моторам можно было подойти во время движения, не без риска, правда, сделать мелкий ремонт, переменить свечи и т. п.; имелись любопытные пусковые приспособления — любой мотор можно было остановить и запустить снова в пути. Вынужденная посадка, таким образом, практически совершенно исключалась: Шрэк снизился, после остановки одного из моторов, больше всего из-за любопытства, увидев «аэродром».

Очень заинтересовали Бронева четырехлопастные металлические пропеллеры и шасси, у которого можно было, не

меня подкосов, заменить колеса поплавками. Баки помещались в крыльях, неся запас горючего на 20 часов. При безветрии, дальность полета без спуска равнялась 5000 клм.

— Так можно и до Луны долететь! — не то с восхищением, не то с негодованием сказал Андрей Бронев.

Он поднялся в кабину «Варнемюндэ». Его поразили ряд пилотажных и аэронавигационных приборов, каких он еще не видел: усовершенствованный креномер, определитель направления ветра, солнечный компас...

— По нашим тайгам только на таких бы и летать! — сказал Андрей Бронев, погладив металлическое прекрасное тело «Варнемюндэ».

Эрмий провел брата через узкую застекленную дверку в каюту. Обстановка ее была проста: вдоль стен — два дивана темно-коричневой кожи, в изголовьях — маленькие столики, электрические лампочки; у стен, на диванах, — туго свернуты плотные одеяла с ременными застежками по краям, чтобы можно было пристегнуться лежа; под диванами — выдвигаемые ящики для инструментов, запасных частей, провизии.

Эрмий достал несколько разноцветных банок самонагревающихся консервов, разную снедь.

— Эдак можно и до Луны долететь, — печально повторил Андрей.

Божья коровка с лету брякнулась о богемское стекло, поползла.

— Вот бы нам так, — засмеялся Эрмий: — Бац на скалу и зарулил!

— Еще додумаются... Да! А что же ты мне не говоришь, кто эта девушка?

— Она занимается краеведением, что ли. Экскурсанта.

— А!.. Ну, закурим. Какие у тебя сигареты, египетские?

Вошел борт-механик Пауль Венцек, лицо его зарябилось бисером пота. Венцек сказал, что сейчас он пустит средний мотор, чтобы освободить аэродром для круговых полетов.

— Каких полетов?! — вскинул голову Эрмий.

— Вот тебе здравствуйте! — ответил брат. — Ты думаешь, мы здесь только из-за ваших покрышек?

Он глотнул из алюминиевой чашечки французского коньяку, похвалил, и стал сбивчиво и громко рассказывать о путях над тайгой, в снег, в дождь, в туман, о шести вынужденных отчаянных спусках, о ночевках у костра, о своеобразных триумфах в маленьких глухих городках и селах, до слез благодарных, что их не забывают, что к ним, через тысячи верст, летит волшебная птица. — Потом он заговорил о потешном своем Мишке, предназначенном в подарок брату, о Лидочке, о ее путешествии в багажнике, о беспутной своей жизни...

— А ты не хотел бы поработать у нас? — помолчав, спросил он. — Ей богу, здесь интереснее!

— Я ведь тебе писал, — что я не прочь; — сказал Эрмий, — но я женат, у меня семья и это зависит...

— А Чеки у нас теперь вроде, как вовсе нет, — прибавил Андрей. — Впрочем, бывших белых, «б» в квадрате, у нас в авиации сколько хочешь. Это пустяки. Нам работников нужно! А там, будь ты хоть раз-коммунист, но если ты гробишь машины...

— Глупости! — покраснел Эрмий... — Это надо серьезно обсудить совсем с другого конца. Вот что... у тебя ведь лонжерон не в порядке: нельзя ли тебе устроиться слетать с нами до Москвы, для ремонта что ли? Вот бы хорошо было! Побывали бы в Демске, поговорили...

— Это, конечно, гениально, потер лоб Андрей... — Ну, надо выходить. Подумаю. Только чур дать мне «фору», чтобы я не отстал на моем тихоходе.

— Сговоримся!

Они вышли из каюты. На двери черно-красная эмалевая надпись:

«Tür nicht öffnen bevor motore abgestellt»*.

Подбежала Зоя.

— Когда же вы будете летать?

* «Не открывать до отключения моторов» (Прим. изд.).

— Вот сейчас отведут этого слона, полечу, — сказал Андрей Бронев.

— А меня возьмете?

— Это для изучения Алтая, что ли?

— Я обязательно вас «покатаю»! — сказал Эрмий.

— Вот чудесно, чудесно! — загорелась она.

Борт-механики испытывали ударами молотка упругость правой камеры. Фишер открыл бензин, чтобы налить в кружку. Щедрая струя полилась из-под брюха «Варнемюндэ». Аэроплан сразу чем-то напоминал живое существо. Теплая лужа замаслилась на траве под ним. Андрей Бронев улыбнулся, закричал:

— Мочится, значит живет!

— Андрей, — смутился Эрмий, — здесь... дамы! Бронев и Зоя расхохотались.

— Совсем ты, видно, отстал от века! — сказал он. — Этот афоризм принадлежит известной советской писательнице и опубликован в «Известиях ЦИК СССР»... Нет, тебе положительно необходимо побыть в России!

— Видать, мои милые, видать! — ораторствовал огромный седой кержак: — И сивера и солнопеки, в раз!

— Точно медовухи хватил, — сказал парень.

Горцы молчали, как переполненные ручьи, но по светящимся лицам видно: вот разъедутся по аилам, запоют нескончаемые песни о железной птице, Темир-Кун — Каан-Кэрэдэ.

Эрмий протиснулся сквозь чащу шуб. Андрей сделал последний круговой полет, всего — пять.

— Ну, теперь позволь мне слетать один раз, — крикнул Эрмий. — Давно я не летал на таком малютке!

По правилам этого не полагалось, но Бочаров сразу согласился: как же — знаменитость, «кругосветный летчик!»

Эрмий посадил в аэроплан Иван Ивановича и Зою, победил в толпу.

— Айда, товарищ, — потянул он Кунь-Коргэна: — Ты меня на своей лошадке катал, теперь я тебя прокачу!

Кунь-Коргэн шел, как лань за удавом; но лицо его было азиатски-спокойно: черные, внимательные глаза смотрели на него.

— Вы знаете, кто это? — возбужденно зашептала Зоя: — Шаман!

Авиатор остановился. Голубое горное солнце. Сквозь солнечный свет полетели круги и дымы. Сказка! Уж не чудится ли ему, как пилоту с виккер-вимми?.. Но все это одна секунда. Эрмий улыбнулся.

— Вы боитесь?

— С тобой — нет.

Острая волна крови качнула его в высь.

— Контакт!

— Возьмите еще мальчика-а! — крикнул Бочаров, таща храброго Шараная...

— Есть контакт!

Кунь-Коргэн напряженно смотрел на девицу рядом: ничего, — не боится. Нестерпимо, как небо, взревел Каан-Кэрэдэ, сдвинулся. Мчит, словно граненая стрела, мир. Какой бег у Каан-Кэрэдэ! Ровнее лучшего иноходца! Дым пошел от корня его головы, будто искры посыпались: летит, летит! Вдруг повалился набок. Закружилась земля, как в миг страшного экстаза, ужас бездны внизу. А волшебница рядом — смеется. Значит — ничего. Опять летит прямо, высоко.

Смотрит Кунь-Коргэн — рукой подать: священная тайга, белок Ял-Менгку, — центр Существующего. Поднял ладони, помолился... Выше, в царство Улыеня, мчит Каан-Кэрэдэ. Облака внизу, словно караван белых верблюдов. Закружились снежные голубые вершины. Велик Хан-Алтай! Могуч конь! Выше! Кажется Кунь-Коргэну: семь дней камлает он семи светлым бурханам, идет к основанию трех небес. Под синей ясностью клубятся, расцветают облака. И вот — уже не облака, а белая береза — Бай-Каин. У Бай-Каин стоит белая жертвенная лошадь, привязана к Бай-Каин серебряным поводом.

Вдруг черная сила рванула кверху, Кунь-Коргэн упал лицом в колени, летит — летит в рот ада. Каменный пик внизу, как железный тополь без сучьев. Взглянул Кунь-Коргэн на волшебницу: испугалась! кричит!.. Гремит, как небо, Каан-Кэрэдэ, нет в нем опоры, пустой воздух хватают руки, холод ползет снизу. Закричал Кунь-Коргэн, закричал Иван Иванович, закричал парнишка. А в переднем окошечке — голова летучего наездника: смеется! И вот опять летит ровно.

Очнулся Кунь-Коргэн, смеется. Смеется Иван Иванович, смеется Шаранай, смеется девица. Только не слышно: огромен, как небо, крик Каан-Кэрэдэ! Летит — вертит золотым клювом... Но вот — тише рев. Ближе земля. Легким дымом растаяла Бай-Каин и с нею жертвенный конь. Смотрит Кунь-Коргэн: вот его Катунь, вот его Акмал, вот его юрта — меньше опрокинутой чашки для аракы. Забил Каан-Кэрэдэ копытами оземь, остановился.

Кунь-Коргэн глубоко вздохнул.

Кунь-Коргэн вышел оглушенный, идет, не видя, пьяный, хоть аракы, терпкого кисловатого вина вовсе не пил, — а лицо спокойно.

— До Бай-Каин поднялись, — говорит.

— Бай-Каин, Бай-Каин, — летит говор.

Иван Иванович долго не уходил, рылся за пазухой, бурчал: «Постой, постой». Достал двугривенный и сунул пилоту.

— На, табарищ!

Эрмий вздумал обидеться.

— Дурак ты, Ермошка, — сказал Андрей: — На чай что-ли тебе дают? Это в пользу Авиахима!

Ивану Ивановичу тут же нацепили значок.

— Ну, как? Не страшно? — спросил Бочаров.

— Рази другие как, я ничево.

— Голова не кружилась?

— Голова что кружится! Ничево. Вот боялся мысок заденет. Ну, ничево. Шибко хорошо!

Узкие глаза азиата, как черный огонь. Зоя говорила, задыхаясь, точно от бега.

— Вы читали «Золотой Ключ»?.. Каан-Кэрэдэ, — двуглавый орел насильника с золотым клювом, белый царь!.. И вот... вы понимаете... в первый раз — чудо!.. Ну как, ну как это скажешь?! Ведь вы, не замечая, свершили великую революцию... Да — революцию!

Зоя замолчала, смутившись своего громкого порыва.

— Да, — сказал, любуясь, Эрмий. — Летать по трущобам, рисковать жизнью с тем, чтобы поднять в воздух мужиков, баб и вот таких, как они... Это... это можно только в России!

Кунь-Коргэн медленно бродил вокруг аэроплана, осторожно шупал: все сделано искусными кузнецами.

— Сколько летел из Дяш-Тура?

— Это из Бийска что ль?.. Полтора часа.

— Адазын! Три дня пути для коней.

Старик упорно расспрашивал, почему летит Каан-Кэрэдэ? Сложные объяснения Нестягина его не удовлетворяли. Эрмий налил бензина, зажег. Кунь-Коргэн узнал, что незримый огонь добывается из темных подземных струй.

— Бинзинчику бы мне, бинзинчику, — протянула кринку баба.

— Зачем?

— Поясницу больно хорошо натирать, поясницу...

— Кровь Эрлика! — пробормотал кам и отошел, раскачивая малахаем.

Андрей Бронев отвел брата в сторону. Они долго шагали, обнявшись, по краю аэродрома.

Бочаров подошел к ним.

— Андрей Платоныч, пора лететь, вечереет!

— У меня лонжерон из водопроводной трубы, — начал Андрей Бронев.

— Ну?

— Я не имею права летать с пассажирами! Мне нужно в Москву, сделать автогенную сварку. Вот, спросите товарища Нестягина.

Нестягин был посвящен в заговор, сказал:

— Да, летать рискованно.

— Рискованно, — подтвердил Эрмий.

— Вас, конечно, я сегодня же доставлю в Новоленинск, — очень любезно поклонился Бронев.

Бочаров увидел: сынишка Петя (что в мире лучше сынишки Пети?) приделал к игрушечному автомобилю крылья. — «Ты у меня юный моделист», — сказал Бочаров. Мать принесла самовар... Бочарову всегда хотелось домой! Он сказал:

— Но ведь вся наша работа нарушается! Что за волюнка?

— Ничего подобного! — горячо возразил Бронев. — Летаете, летаете по тайгам, да соigram, налетаете километров с экватор, а никто и слова о тебе не скажет, — если не считать «Советской Сибири». А вот, когда «Исследователь» проводит экспедицию до Москвы, о нашей работе заговорят. Всякие интервью будут. Уж вы обязательно попадете в «Известия»!.. Кроме того, скоро нам придется менять мотор. Этот уж отработал свое. А когда его пришлют? Знаю я этих чертей москвичей! Надо лететь: два дня туда, два дня обратно — в неделю обернусь...

— Все-таки это не дело, ребята, надо было раньше предупредить, — потряс бородой Бочаров.

— Когда раньше?! Разве я знал, что мне на аэродроме подсунут верблюда с мороженицей! Разве у нас есть запасные части? — Старый военный инстинкт пилота трубил атаку: чтобы защищаться, надо наступать. — Вот, мы недавно составили перечень того, что необходимо закупить в Москве... Товарищ Нестягин!

Нестягин вынул приготовленный список и начал декламировать, как стихи:

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Пропеллеров со втулкой Руппа..... | 1 |
| Заклепок дюралюминиевых разных..... | 60 |
| Дюритов к радиатору..... | 3 |
| Шплинтов 2-х и 3-х м. м..... | 250 |
| Пистонов..... | 100 |
| Побегушек..... | 2 |
| Прерывателей..... | 2 |
| Магнето..... | 1 |
| Аэрометр..... | 1 |

| | |
|------------------------|---|
| Комплект жиклеров..... | 1 |
| Саф..... | 1 |
| Тахометр..... | 1 |

Бочаров не выдержал.

— Ладно! — прервал он. — Хотя я и знаю, в чем тут дело, черт с тобой! Устрою!.. Только, чтоб сегодня же быть в Новоленинске: я должен переговорить с Крайкомом.

— Разумеется!.. Из Бийска дадим телеграмму. Что мы, при кострах не садились, разве?!

Бронеv радостно подмигнул брату.

— Ну, завтра увидимся в Омске. Только смотри: твой вылет утром.

— Не беспокойся, Левберг согласился.

Братья простились.

Дюжина рослых алтайцев в рубашках до колен, в синих штанах, в красных халатах, в красных шелковых кисточках на концах кос, в шубах, шапках, окружили Бочарова, как тайга.

— Почему, — говорят, — айрапланды? Продай айрапланды!

— Моя лошадка дает, ею лошадка дает, табун сто голов дает. Продай айрапланды!

— Товарищ Алагызов! Да уйми ты их! — взмолился Бочаров.

Нестягин повертелся вокруг «Исследователя», запустил мотор, занял свое место.

Толпа, как пасхальные яйца, покатилась вместе с юнкерсом. Эрмий и Зоя остались одни, следя за его исчезающей тенью. Настала тишина. Лес. Катунь. Скалы.

— Вы видите его? — спросил Эрмий.

— Нет.

— А я вижу.

— Как это чудесно: летать, — сказала девушка.

Руки их встретились.

Молчали горы.

IV. Путь Шамана

Кунь-Коргэн сказал: «Как мне отблагодарить тебя, крылатый витязь, я беден; вот возьми мою трубку».

Он протянул медную алтайскую трубку с длинным костяным чубуком.

— Хорошая память, — сказал Эрмий. — Возьми и ты мою вещь. Она поможет тебе найти путь, когда ты заблудишься. Черная стрелка всегда показывает на север.

Зайдэ перевела.

Глаз шамана отразил медный луч компаса.

— Войди в мой юрт, витязь! Баба моя зарезала ягненка.

В шестигранном срубе дымный сумрак. У подножия огня сидела старуха, жарила куски мяса. На старухе была баранья шуба, на голове — высокая барашковая шапка такой же формы, как у русских кокошник. Дым выходил в отверстие в потолке. Посредине качалась деревянная решетка. Там коптился сыр-курут, — заменяющий хлеб. Направо от входа помещалась женская утварь, кадка для кумыса, кожаный мех для чегеня, прибор для изготовления аракы. Налево, по закоптелым бревнам, висели седла, сбруя, нагайки, переметные сумки, ружье. В углу под какими-то странными изображениями, быть может, заменявшими иконы, стоял крестьянский ларь с отломанной крышкой; в ларе хранились шаманская мантия — «маньяк»*, шапка «пöрук» и огромный бубен. Окон в срубе не было.

Кунь-Коргэн расстелил у кровати белый войлок, уложил. Кровать была занавешена красным ситцем с гербами — серп и молот — в клетку. После баранины старуха скинула чай, заправив солью и салом. В знак особого уважения вытерла чашки овчиной своей шубы. Эрмий мужественно решил перепробовать все... Зато хорош был молодой кумыс, который пили из больших белых полоскатель-

* Manjak.

ниц. На десерт Эрмий достал банку американских консервированных яблок. Алтайцы восхищенно причмокивали:

— Алиман-чикыр!

Гости сидели у красной занавески, слева от них старуха Ялбырак с дочерью Магрой, напротив, посредине, Кунь-Коргэн, справа сыновья — Ит-Кулак и Сапыш.

— Ит-Кулак значит: собачье ухо, — сказала Зоя, — но никто не будет смеяться над ним. Когда у алтайцев умирают дети, они дают их братьям и сестрам самые неаппетитные названия. Чтобы шайтан, похищающий души, отвязался.

— Хорошо, что я не алтаец, — сказал Эрмий. — Моя сестренка умерла, когда я еще не родился.

— Может быть, зато вы получили бы такое же имя, как у шамана: «Увидел Солнце».

Она показала на бубен.

— Я не могу к нему прикасаться: женщина — существо «нечистое». Прикоснешься, шаман, пожалуй, переменит шкуру у бубна. Но есть и женщины-шаманки; впрочем, они не имеют права камлать небесному богу Ульгеню... Вас не волнует эта вещь? Смотрите, вы видите здесь крест — древний символ свастики — а имя Эрлика, Эрхе, может быть, переплетается с именем Христа.

Кунь-Коргэн услышал грозное имя, вытер лицо рукавом из синей дабы, сказал, поклонившись:

— Если у витязя хворь, буду камлать Эрлику, чтобы выздоровел.

— Скажите ему, — ответил витязь, — я здоров. А Эрлих его теперь не в аду, а в Берлине, лечит дурную болезнь.

— Не шутите! — помрачнела она. — Шаманизм один из самых экстатических культов. Попросите камлать ради меня.

— Хорошо, — сказал Эрмий, помолчав; лицо его стало неподвижным. — Пусть колдует, узнает — окончу ли я мой путь?

— Трудно, но я пойду, — сказал кам.

Ранняя луна зашла, как зарево. Звездная ночь в горах. Тихи черные тени кедров. В центре белого круга — костер.

Эрмий шагнул в тьму. Он хотел позвать Левберга; но в каюте было темно; немцы спали: у них было много трудных дней. Аэроплан, в отблесках костра, под черной гривой скал, выглядел неузнаваемо дико. Эрмий вернулся.

Ит-Кулак долго взмахивал над костром бубном, пробовал на звук, точно настраивал. Потом привычно помог отцу навьючить шаманские доспехи, Кунь-Коргэн спросил, нет ли русской аракы?

— Если напиток, то и я зашаманю, — пробормотал Эрмий, выливая коньяк.

Но Кунь-Коргэн не пил. Он покропил во все стороны семь раз, остатки выплеснул в огонь. Алкоголь вспыхнул голубым цветком.

Ит-Кулак подал бубен. Кунь-Коргэн начал камлать. Алтайцы молча уселись вдоль круга, скрестив ноги.

Кунь-Коргэн сидел, покачиваясь, как засыпающий, закрывшись бубном, — бормотал в бубен свои призывы. Духи прежних могучих камов окружили его. Он молил их поддержки. Аласа! Аласа! Аласа!.. Бормотание было глухим, быстрым. Оно напоминало далекий звук перегретого пара и урчанье медведя в малиннике. Вдруг Кунь-Коргэн поднялся. Напряженнее стала песнь. Кам раскачивался, взмахивая бубном, точно дискбол перед броском. Бубен загудел, шаман крикнул и закружился внутри пятками, слегка согнув и расставив ноги. В пламени шипели листовяжные сучья. За пламенем — черные зубцы гор.

— Оказывается, шаман это тот же авиатор, — сказал Эрмий. — С помощью несущих поверхностей своего бубна он может в два часа достигнуть вершины Алтая и вернуться обратно.

— Вы все стараетесь показать свое остроумие, — отмахнулась девушка. Она следила за пляской.

— Это для вас, — придвинулся Эрмий.

Кам вертелся все быстрее. Железные перья побрякушек на его спине вздымались и звенели... там-тум-там-тум — бубенцы на дуге в ночь. Голос глухой и ровный плыл мутным дымом китайской курильни. Чудовищная птичья шкура маньяка раздувалась, летела. Иногда Кунь-Коргэн

останавливался, выкрикивал страстное заклинание и мчался снова. Пламенные неподвижные лица алтайцев повернулись к огню костра. Алтайцы курили и слушали.

— Такой способ добывать себе хлеб насущный труднее, чем у наших попов, — сказал Эрмий, — значит и честнее... Сколько времени продолжается обыкновенно камлание?

Зайдэ молчала. Есть только один этот дремучий мир. Светлые улицы Москвы, лаборатории университетов, рупор радио, все — клубилось тяжелым дымом легенд. И вот улицы стали ордой, от дыхания лошадей вздымается туман, лица воинов, словно степной пожар. Идет ханская свадьба — той. Ручьем льется арака, мяса накрошено, как тайга. Рядом лежит богатырь. Она прислонила голову к плечу. Плечо надежное, мужское...

Кунь-Коргэн взмахнул бубном. Тьма раздвинулась. И вместе с тьмой раздвинулись горы. Воспаленный глаз низкого солнца смотрел, не мигая, в глаза Кунь-Коргэна. Огненная марь озаряла пыльную, как лошадиные копыта, степь. Через степь, к солнцу, натоптаны громадные следы. Кунь-Коргэн пошел прямо. Шаги его были легки, он ступал по верстовым впадинам без усилий. Вдруг земля расступилась, точно зевнула гнилым ртом. Душный чад поднимался из бездны. Глаз охотника не мог различить внизу ничего, кроме парящей мглы. Кунь-Коргэн отогнал злых духов и спрыгнул. Аруу-көрмөсы, принявшие образ больших филинов, поддерживали его мягкими крыльями. Дневной свет сверху завял, как осыпавшийся подсолнечник. Кунь-Коргэн падал в черной тьме. Сердце его ударило горячей волной крови, и капля пота, блеснув, покатилась вниз. Блеск разгорелся, зацвел пламенем, Кунь-Коргэн увидел большой костер и встал на ноги. В чугунном закоптелом котле клокотала кипящая вода. Семь дорог расходились в семь сторон. В котле, на семи вертелах, варились шесть человеческих голов. Седьмое вертело было свободно. Кунь-Коргэн взмахнул бубном и пошел по седьмой тропе.

Бомом шел Кунь-Коргэн. Сосны и скалы окружали его, вшгуз, словно кровь Эрлика, рычал поток. Горец шагал в темноте по камням уверенно, как вспугнутая ночью птица

режет воздух. Валежник затрещал, один из косматых клубков мрака подкатился ближе. Большой бурый медведь оскалил на Кунь-Коргэна кинжалы клыков. Филины захохотали.

— Эгей-ге, Хал-Халыч! Здравствуй! — повеселел Кунь-Коргэн.

Хал-Халыч заскулил, побежал прочь. Кунь-Коргэн прыгнул на спину зверя. Густой ветер ударил в лицо кама. Медвежья шкура была мягкой, как хвоя лиственницы.

— Эгей-ге! — покрикивал Кунь-Коргэн...

— Путь к Эрлику длинен и полон страшных препятствий, — сказала Зайдэ. — Мы можем уйти, послушать Катунь и потом вернуться: он все еще будет кружиться, — я знаю.

Эрмий молча увлек девушку. Никто не поднял на них глаз...

Девять черных сарлыков наклонили против Кунь-Коргэна острые рога. Громадные быки ревели, их маленькие круглые глаза наливались кровью. Лавиной скал, оторвавшихся от Катунских столбов, бросились быки; но филины подняли кама, и рога зверей вонзились в ствол кедра. Кунь-Коргэн опустил в чашу. Гибкая ветвь пахучего маральника обвила ему ногу. Кунь-Коргэн оборвал ветвь, и тотчас же его схватила другая. Лес был тих, под ногами скользила мягкая сухая хвоя. Кунь-Коргэну хотелось лечь. Пот лился по его морщинам. Так он шел много часов, отбиваясь от рук растений. Свинцовые круги наполнили его взор. Он остановился на миг, чтобы вытереть рукавом лицо. Из-под руки мелькнул серый серебристый свет, подобный крыльям Каан-Кэрэдэ. Перед Кунь-Коргэном была мутно-зеленая равнина. Девять круглых озер, одинаковых, как слезы, мерцали в дали страшной неподвижностью. Девять туманов белых и девять черных медленно блуждали над ними...

Эрмий пытался рассказать о том глубочайшем синем цвете, что, не затухая, сиял в нем после перелета через два океана. С четырехверстной кручи океан был подобен гигантской сапфировой чаше. Края ее поднимались, как великие плоскогорья. Весь видимый мир был синим. Был синий ветер. Казалось, что аэроплан неподвижно висит в синем хао-

се. В течение многих часов перед взором не было ни одной отметины, по которой можно было бы определить движение. Голова становилась совсем пустой. В ней не было ничего своего. Только эта вечная, заколдованная синева.

Зайдэ прижималась к нему, ласкаясь. Сильный человек, шагавший рядом, казался ей избранником.

В лесу была тишина. Теплые волны смолистых ароматов омывали их загоравшиеся лица. Далеко внизу, прибоем южного моря, шумела Катунь. Глухо долетали взрывы бубна. Жизнь была, как поднимающаяся грудь.

— Каан-Кэрэдэ! я люблю тебя...

Кунь-Коргэн шагнул и туманы окружили его. Они плавали всюду, и Кунь-Коргэн не знал, куда ему идти. Каждый раз он встречал круглое озеро, старался обойти его, чтобы продолжать путь прямо, терял направление, опять приходил к берегу, пока не возвращался к первому следу. Совсем рядом, у левого виска, он ощутил равнодушие. Усталость, скривив губы, слабо махнула рукой. Тогда Кунь-Коргэн вспомнил новый подарок, закрылся бубном, взывая к духам, и пошел прямо, за черной стрелкой. Девять раз мутно-молочная вода, полная липких существ, покрывала его, погружая в холодный сумрак; девять раз Кунь-Коргэн едва сдерживал дыхание, пока, наконец, каменная гряда не преградила его путь. Высок и крут отвес, как Иик-Туу. Ударил Кунь-Коргэн в бубен и пошел вдоль стены, по левой грани страны озер и туманов. Как собака, подбежал Хал-Халыч. Кунь-Коргэн лег на его пушистую спину, медведь свернул в узкую расщелину и снова помчался в лес, ночь и ветер...

— Зайдэ, Зоя, — оказал Эрмий. — Как мне называть тебя нежнее? Твое имя, как и мое, не любит уменьшительных. У меня есть жена в Германии и маленькая дочка, Рита. У меня бывает много женщин, я — перелетная птица. Когда я люблю новую, мне кажется, я ее не забуду; но я забываю. Так бывает часто... Нет, не теперь! В этот громадный месяц я видел много женщин прекрасных и странных, но немцы условились работать, как черти, и мы вели себя, точно спортсмены на Олимпийских играх. Вот... А сейчас я хочу тебя, как будто больше ничего нет на свете!

— Я знаю!

Под рукой, словно бездна Тихого Океана, зов ее груди...

Бледный теплый свет медленно наполнял мрак. Светлая долина почудилась за черными колоннами кедров. Медведь остановился на опушке. Кунь-Коргэн спрыгнул, пнул его в лес.

Невиданный кандык рос на поляне. Он цвел радужными цветами — синими, как полуденное небо, огненными, точно закатные облака, бирюзовыми, словно сумерки. Цветы качались и пели. Тихая дрожь семиструнной тандыркомыс переплеталась далеким рокотом труб. Тысячи звуков трепетали в цветах. Они рассказывали Кунь-Коргэну длинные и приятные повести о великих богатырях и о хорошей свадьбе, где теплая арака черпалась большими чашками, баранина была жирной и трубки набиты русским табаком, о многих повседневных делах Акмала и о красавице Улаа из Эликманара.

Кунь-Коргэн пошел вперед, следуя за чуть слышным далеким зовом потоков, мчащихся в подземелья. Волшебный кандык льстиво склонялся перед ним. Кунь-Коргэн ударил в бубен. В ответ зазвучали другие бубны, и Кунь-Коргэн вздрогнул, хотя бубны звучали не страхом, а сонной и страстной негой. Громче и радостнее раздался их рокот, и девять дочерей Эрлика, танцуя, окружили Кунь-Коргэна горячим кольцом. Нагие тела были смуглы, черные косы касались могучих бедер, на красных с золотом поясах непрерывными рядами струились рыжие лисьи хвосты.

— Труден путь путника, — звенели бубны, — и в начале и всюду нет у него конца... Есть только одна пристань для молодца — женская ласка, одно сокровище на свете — любовь.

— Пусти меня, Тан-Чолмон, я приду после, — прошептал Кунь-Коргэн.

— Останься у нас, Кунь-Коргэн! — заласкались женщины. — У нас цветы круглый год, а впереди гремит гром. Ты возьмешь любую из нас, а впереди грозный отец. Посмотри кругом, Кунь-Коргэн, — как хорошо!

Бешено ударил Кунь-Коргэн в бубен, заглушая дурманные зовы, но тогда из круга вышла сама Тан-Чолмон, лучшая из волшебниц. Тело ее сверкало, как отблеск зари в Кара-Коле, волосы расплелись солнечным нимбом, глаза смотрели синью неба. Кунь-Коргэн ослеп и остановился, а голос Тан-Чолмон зазвенел ужасом страсти.

Кунь-Коргэн ощутил горячий ветер ее губ. Сердце его замолкло и прыгнуло, страшное заклятье вырвалось с его дыханьем, как щитом, закрылся он бубном, волоча каменные ноги.

Тьма длилась. Бубны женщин гремели громче. И бубен Кунь-Коргэна вторил им, как гром. Град бил в бубен тысячами рук. Кунь-Коргэн снова шел сквозь мрак узких ущелий.

Какие-то душевные потоки стекали по отвесным плитам сланца. Кунь-Коргэн вздрогнул, вспомнив их запах: это была кровь Эрлика. В уходящей тьме Кунь-Коргэн различил полосы огня. Страшные ручьи горели. Они двигались, извиваясь, на Кунь-Коргэна. В дымных отсветах почудились огненные клыки и немигающие узкие глаза. Кольца огненного удава, Кэр-Джилана, сжимались все теснее. Кунь-Коргэн, задыхаясь, запрыгал по изменчивым кругам свободной земли...

— Я сгорю, — прошептала девушка. — Пусти.

В черном запрокинутом небе, сквозь лучистые ресницы — лучи звезд.

— Милая, — говорил Эрмий, — я хочу сказать... я тебя очень уважаю! Ты виновата, что я чувствую себя мальчишкой и не знаю, как сказать свои мысли. Мне хочется молчать... Ах, как мне хорошо с тобой! Ты, вероятно, будешь раскаиваться, но мне иногда мерещится этот ваш земной рай будущего: ведь так должны поступать все настоящие женщины.

— Ты давно не был в России, — сказала она. — Для нас это «раскаиваться» смешно. Впрочем, какое тебе дело?

— Зимой я буду в Москве.

Ток радости смешался с незаметным вздохом: она не могла ему поверить. Катунь плескалась у ее ног.

— Давай искупаемся! — крикнула Заидэ.

— Вода восемь градусов, Левберг мерил, — сказал он. — Я боюсь, ты простудишься.

— У тебя, вероятно, было много приключений с курортными дамами, — уколола она.

— Ну, ладно, — сжал руку Эрмий.

Он быстро разделся.

— Отвернись, отвернись, — шептала она. — Иди первый!

Эрмий засмеялся, поднял ее на руки, вошел в воду. Ледяные струи охватили его. Он расширил грудь и окунулся.

Русалочный крик взмахнул светлыми крыльями над ледяным кипятком Катунь. Веселым эхом ответили скалы. Плеск воды в темноте, как лучи.

— Довольно.

— Ты, как замороженное вино!

Сказала беспомощно:

— Нет полотенца.

Эрмий схватил свою рубашку. Под рукой вздрагивало холодное, как бронза, тело...

Огненный ручей, вобрав все потоки, упал в черную реку. Могучее зарево горящего водопада улетало на другой берег. Черная река была шире Катунь, шире Бии, шире, чем великая Обь. Она двигалась и не двигалась, впадая в безмерную тьму. Посредине, в том месте, где на земле вздымается тайга Ял-Монгку, сердце Алтая, был каменный остров, поросший черными кедрами. В лесу, за железной стеной, сверкал рубиновыми огнями золотой орго Эрлика.

Кунь-Коргэн ослаб. Жажда раздираала его; но вода в черной реке была водой слез, текущих со всего светлого мира. Она была горько-соленой, подобно горю живущих.

Во дворец Эрлика вел мост из одного конского волоса — Кыл-Комуру. Кунь-Коргэн, покачивая бубном, ступил на черную нить. Она глухо вздрогнула, зазвенела. Внизу струилась людская тоска. У берега были маленькие детские обиды, дальше струились слезы обманутых девушек, жен, оплакивающих мужей, матерей, потерявших рожденных ими. Страшные слезы мужчин краснели кровью. Мост под ногами Кунь-Коргэна раскачивался все сильнее. Упругие вол-

ны бежали по струне, холодные волны дрожи, точно поганные духи — шулмусы и алмусы. Вдруг Кунь-Коргэн разлил слезы о сыне своем Томыше, убитом в горах в годы кровавой *джады*, когда русские воевали с русскими. Кунь-Коргэн наклонился, чтобы взглянуть на сына и покачнулся, но черный дух подал ему руку...

Эрмий и Зоя подошли к белому кругу. Неподвижно сидели алтайцы, вертелся кам. Возгласы его вырывались, точно он боролся с одолевавшим его противником. Они сели рядом и опять никто не взглянул на них. В костре нагорели звездные золотые угли...

Железная дверь раскрылась. Кунь-Коргэн знал: теперь надо идти быстро, не глядя по сторонам, к трону великого бога. Потому что душами мертвых наполнен его сад. Кунь-Коргэн трепетал. Он должен был взглянуть на грозный лик — узнать его волю. Опустив голову, Кунь-Коргэн встал на колени. Вот сейчас он увидит глаза, как черные озера... Кунь-Коргэн медленно поднял взор, творя заклинания. И вдруг потерял сознание от ужаса: трон Эрлика был пуст.

Резкий вопль ворвался в гудение бубна. Кам грохнулся на землю. Алтайцы вскочили, как будто бы они были одним существом, и разбежались, воя. Левберг вылез из каюты с парабеллумом в руке.

— *Vas ist das?* — завопил немец.

Эрмий его успокоил. Он вытер лицо кама, оттащил от огня. Левберг принес плоскую алюминиевую фляжку с вином. Кунь-Коргэн очнулся; но почти полчаса от него нельзя было ничего добиться. Быстро зацвёл рассвет. Кунь-Коргэн взглянул на Эрмия, тяжело встал и пошел к айлу, позвякивая маньяком. Короткий ряд гортанных звуков долетел через плечо кама.

Зайдэ вздрогнула.

— Душа человека создана Эрликом, — сказал он. — Бойся своей души, Каан-Кэрэдэ!

С утра шел дождь, тучи спустились ниже горных вершин. Аэроплан долго стоял на старте.

— Эрлик и Ульген спорили, кому творить мир. Они поставили перед собой две чашки с молоком и зажмурились: в чьей чашке расцветет цветок, тому и творить. Хитрый Ульген знал, что не одолеть могучего бога. Он приоткрыл глаза; из чашки Эрлика поднимался цветок с лепестками радужных лучей. Ульген схватил цветок и бросил в свою чашку... Земля, созданная Ульгеном, была плоской, точно киргизская степь. Мир этот был так скучен, что Эрлик не стерпел. Он создал Алтай и другие горы, диких зверей и гадов. Люди, самые незащитные из всех живущих, стали жалкой добычей новых пришельцев. Тогда Эрлик вдунул в людей душу и наделил их мудростью. С тех пор человек носит в себе два враждебных начала: смертное тело принадлежит небожителю Ульгеню, бессмертная душа — Эрлику. Когда человек умирает, его душа возвращается, по праву творца, к Эрлику.

Горцы, по двое на коне, проезжались вокруг.

— Не бояться! — пояснил русский кержак. — Колдун пьет арачку, говорит: шайтан вылез на тебя посмотреть. Ну, сам боится, однако...

— Теперь ты поймешь, почему шаман сказал: «Бойся своей души!».

Эрмий смотрел на небо. Горное солнце прожгло, наконец, застрявшие облака. Ожили белые крылья.

— Можно лететь! — крикнул он.

Заидэ взглянула в его лицо. Голод полета и скорости овладел им, как приступ лихорадки. Смуглые скулы покраснели.

Борт-механики торопливо заканчивали осмотр.

— Эрмий, — позвала она, — прощай!

Он шел рядом, молча, не умея утешать. Для него было так ясно, что раз он у аэроплана, женщина должна отступить в какой-то тихий закоулок сознания.

— Я буду в Москве, — сказал он. — Андрей все мечтает устроить меня в Добролет. Если мне дадут некоторую самостоятельность, я проживу в России.

Левберг запустил моторы.

Восемнадцать стальных цилиндров расправили стальные суставы. Горы вторили каменным медвежьим эхом: «Ур-р-р-р...!»

— Прощай, — повторила Зоя.

Они быстро поцеловались.

— Я вернусь! — крикнул он, подбежав к аэроплану.

— Готово! — кивнул Левберг.

Эрмий прошел на свое место, еще раз взглянул на полянку перед собой, понюхал встречный ветер и привычным жестом застегнул ремни.

— Готово!

Эрмий дал полный газ. В струе вихря отлетел меднолицый Шаранай. Аэроплан сдвинулся, помчался вперед с могучим ускорением, поднял хвост, Эрмий слегка надавил рычаг рулей, поставил крылья параллельно земле... Когда стрелка измерителя скорости показала 90, он взял рычаг на себя. Аэроплан взмыл вверх. Эрмий сделал круг над Акмалом, чтобы набрать высоту. Внизу, закинув головы, стояли горцы. Он различил кожаную куртку Заидэ. Девушка стояла, прижимая к лицу платок.

Мальчик Четаша стоял рядом, смотрел, защищаясь ладонью и пел, забыв свой мир...

«Вот садится богатырь Эрэмин на Темир-Каан-Кэрэдэ, пристегивает себя шестью подпругами, надевает панцирь о шестидесяти пуговицах. Заржал Темир-Каан-Кэрэдэ, камни развеял вихрь из ноздрей, и вот — летит. Смотрит богатырь Эрэмин, как плетъ расплетенная всюду хребты. Смотрит еще с высоты кочевых облаков белая тайга Хан-Алтая, точно трехгранный клинок. Летит Темир-Каан Кэрэдэ, а впереди красный каменный юрт и большой каменный человек стоит, протянул руку...»

Знакомый ток, словно жидкий огонь, пробежал по ее телу. Слезы высохли. В небе стояли хребты гор.

Авиатор подвинул левую ногу, повернул влево рычаг эйлеронов, приподнял руль глубины. Огромное накренившееся крыло закрыло Акмал. Вперед указывая путь, уходила к северу прямая долина Катунь. Заклубились, засинели вол-

ны Хан-Алгая. Авиатор напряг мускулы, потянул к себе стальной борт. Он не знал, куда девать избыток своей жизни.

С высот кочевых облаков — северные отроги, как холмы. Синь осталась за спиной. Бирюзовое молоко Катунь питало хлеба равнин. Это была уже не та, не Акмальская Катунь. Там, в ее верховьях — песня, здесь — плуг. Царство Эрлика кончилось. Впереди, на северо-запад, разливалась первозданная гладь. В дымной мари был горизонт степей. Тихий океан степей...

V. Рули

Будут годы, близка их крылатая поступь, когда мы будем жить в Крыму и работать в Норильских горах; но все еще страшит людей неосязаемая бездна и, как своих освободителей, встречают они завоевателей небес. Эрмий Бронев снизился на омском аэродроме при кострах. Аэродром был пуст. Только сотни две зевак выкрикивали в сумраке «ура!».

— Я надул их, — сказал Андрей Бронев, кивая в сторону криков. — Торжественную встречу назначили утром. К чертям! А то набанкетись так, что не встанешь. Банкеты у нас, главным образом, чтобы самим выпить и закусить... Ну, мы успеем напиться в Демске.

— Значит, летишь с нами?

— Да; все устроил!

В гостинице немцы занялись мытьем, вернулись в халатах, разошлись по своим комнатам; но добрые намерения Андрея Бронева погибли. Появились члены правления Окравиахима, затем — окрошка и другие жидкости. Нестягин, почуяв новых поклонников, заговорил об электро-авиамоторах, питающихся энергией от сверхмощных станций мира путем радиопередачи. Сверкающая оболочка его глаз излучала огонь водки и мысли.

— Это будет свобода. Наконец-то — свобода!

— А я вижу это так, — сказал человек с черной бородой. — Громадные воздушные корабли: *Мистер Нобель*, *Лига Наций*, *Лос-Анжелос** и другие, столь же миролюбивые, остановятся над нашими городами и будут сбрасывать бомбы, начиненные «росой смерти» или какой-нибудь еще более поэтической смесью «арсинов», «винилов», «хлоридов»...

* «Ангел мира» — название одного из последних «цеппелинов», переданных Германией Соединенным Штатам в счет уплаты военных долгов.

— Это действительно гораздо ближе, — сказал Эрмий.
— Простите, вы химик?

Все улыбались и розовели...

— Я завокроно.

— Вы не русский?

— Почему?

— Так, показалось, такая фамилия...

— Моя фамилия Павлов, — сказал завокроно.

— А!

Разговор зареял над страной случайностей.

— Храбрее всего глупость, — сказал Андрей Бронев. — Раз, на фоккере, я попал в туман. Я бился два часа, бензин был на исходе. Пробовал подниматься: нет конца-краю «молоку», точно зима! Спускался: под самым носом выпрыгивают деревья. А пассажиры, какие-то нэпачи, выпивают, дуются в железку. Наконец, увидел облачную воронку, приткнулся на лужок. Вышел — весь мокрый. Рассказываю одному молодчику: так и так. «Разве», говорит, «а мы думали, так и надо».

— Удивительные бывают случаи, — сказал Эрмий. — Однажды я вижу моего товарища на красавце «Фербуа», здорово мотнуло перед самым спуском. Мы подходим спокойно, аппарат совершенно цел. Смотрим, а легчик мертв. Шейный позвонок... В таких случаях надо держать голову твердо.

— Да! Ты мне напомнил, — соскочил Андрей. — Это, кажется, при тебе было. Показывает нам маэстро Верховский разные штуки на своей этажерке. Потом — бац! От аэроплана осталась вот такая куча. Я бегу, фуражку снял, упокой, думаю, Господи! Вдруг, куча зашевелилась, вылезает маэстро — целехонек. Встал, руки в карманы... — Бронев показал, как это он сделал. — «Тьфу», говорит, «ну и говно машина»!

— Все мы когда-нибудь свернем себе шею, — улыбнулся Нестягин. — Смотришь, прекрасный легчик, а все-таки разобьется...

Комната была в табачном дыму, мысли легкие, как вино, отплясывали на краю смерти и смеха. Непостижимо по-

явились две блондинки с черными бровями и алыми губами. Женщины подливали вина, говорили: «Вы герои».

— Все зависит от системы аэроплана, — сказал Эрмий. — Когда я на «Варнемюндэ», мне смешно думать, что может быть несчастье! На земле в тысячу раз опаснее. Мы, с гораздо большим правом, можем переделать известную морскую песенку на воздушный лад. Внизу, того и гляди, тебя переедет автомобиль или упадет на голову кирпич... А у нас — простор, широта, покой!

— Ваши машины слишком хороши, слишком! — брякнул кулаком Андрей. — Честное слово: так облететь кругом света — проще нашей карусели. Здесь, по крайней мере, есть риск!

— Я и не хвастаюсь! — засмеялся Эрмий.

— А к чему это ведет! Через несколько лет мы превратимся в каких-то вагоновожатых! На нас наденут шинели с красными кантами и медными пуговицами. Торгаши, дипломаты, всякая международная сволочь, будут садиться в наши машины, не подавая руки... Крути, Гаврила!

— Одному я уже дал в морду, — сказал Нестягин. — Помните, Андрей Платонович, в Туркестане? Я всегда открываю дверку, чтобы пассажиры ее не разбили. И вот один тип сунул мне, не знаю, сколько... Я дал ему в морду!

— Ну, — сказал Эрмий, — тогда мы можем несколько переменить профессию! Я надеюсь, мне еще придется управлять, вместо международного лимузина, межпланетной ракетой... Ты знаешь, что проекты Годдарда и Оберта близки к осуществлению?

— Риск! Риск! Риск! — повторял Андрей, пьянея.

Эрмий пил меньше, но в голове его летели и плыли вихри водки; он продолжал спор и гладил чулок женщины.

— Риск хорош, когда все взвешено! Когда же люди гибнут от шалой своей глупости, мне их не жаль. Раз, в Фоджиа, делаем мы фигурки, по очереди, подходит один итальянец, говорит: «Ну, теперь я покажу вам, чего вы еще не видали». Я говорю: «Пожалуйста!». Он поднялся метров на 50 и перевернул аппарат вверх колесами. Черт его знает, с

ума что ли сошел?.. Ну, потом долго искали: где голова, где нога.

— Где голова, где нога, хи-хи-хи-хи! — заливались блондинки.

Комната покачивалась. Андрей Бронев поднял голову. Коммунисты ушли, Нестягин протискивался в дверь. Одна женщина наклонилась рядом, другая жалась к Эрмию, пела:

— Жажду я поле-та,
Дайте мне пило-та.

Бронев качнулся, толкнул дверь в смежную комнату. Из двери высунулась заспанная медвежья морда. Женщины завизжали, выскочили в коридор. Бронев опустил крючок.

— Я сыт, а ты, как хочешь...

— Спать, — зевнул Эрмий.

— Миша, Миша, Мишенька... Р-р-р-р!.. Вот твой новый хозяин. В Москве тебе пересадка, заграничный паспорт. У хозяина маленькая девочка, будешь с ней играть...

Братья разделись, погладили мускулы. Кружились и звенели двухсотильные моторы. Эрмий развернул немецкую карту Азии, но, вместо запада, сполз к югу.

— Как это все близко! Дневной перелет и вот «Peshawar». Ост-Индия, куда тысячелетия люди ищут путей.

— Мы первые перелетели Гинду-Куш, — сказал Андрей. — Иностранцы негодяи, они крадут наши успехи. Я видел в Париже монумент в честь братьев Райт и тридцати пионеров авиации. Там нет ни одного русского имени. «Мертвая петля» приписывается Пегу, хотя Пегу сам публично признал первенство за Нестеровым и, вообще, это бесспорно...

— Гималаи, Гималаи...

Эрмий достал из бумажника фотографию, вырезанную из журнала, и квадратик любопытного документа. На афганском и индусском наречиях было написано:

Обращение к населению от английского правительства.

«Если воздушный корабль залетит за афганскую границу и господин, находящийся в нем, упадет, то человек, который его найдет, должен быстро написать письмо начальнику одной из пограничных частей о том, что найден офицер воздушного корабля. И за это извещение он получит большую награду».

Подпись была по-английски: I. Maffey.

— Такую копию каждый летчик в этих местах носил зашитой в одежду. Когда я жил там, афганцы исправно охотились за «рупиями». Они сбивали аэроплан, а потом являлись за наградой.

— Брось, брось, брось, Ермошка, свою заграничную службу! Один черт...

Эрмий выключил ток.

— Тебе вставать на рассвете. Поговорим в Москве. Спать!

— Но, лежа в кроватях, они еще бормотали, засыпая, о многих вещах.

Низкая оранжевая луна висела в окне, как шаманский бубен над костром. Заидэ держала руку. Готические отвесы сланцев были темны. Все это было сегодня, но океан земли отделял его и виденья становились дымом, облаками, экстазом. Впереди, в другом измерении, он видел девушку в легком шелке, с большой жемчужиной на груди и себя — не себя, смешного офицера в мундире, влюбленного страшной любовью и голос, надменный, как татарский кнут: « Вы забываетесь, господин поручик». Он испытывал какую-то острую благодарность этому огненному кнуту. В огне и боях он начал летать, заглушая сердце сердцем мотора, потому что жизнь в воздухе, в боях, исчислялась месяцами. Но жизнь победила, он был жив. И еще была революция, революция была против шелка и жемчуга, против шелковых отворотов фрака и жемчужных запонок Виктора Аристарховича Подбельского, предводителя дворянства и князя, ее мужа. Князь был расстрелян в Сибири, а Вероника, он знал, вернулась — кто она? Красные волны крови бились в его висках. Теперь Вероника давно была

ему безразлична, но раз выпал случай, он решил встретиться с ней... Да, только взглянуть в ее глаза прямо и увидеть, что она — что она.

Сны его были спутаны и огромны.

— Европа! — крикнул борт-механик так же, как в море кричат: «Земля!».

Моторы ревели свои победные арии. Небо звенело, как синий колокол. В громе и гуле упрощенные такты знакомых напевов... Но какая мощь! Этот огромный рев можно было осязать, как воздух.

Эрмий отстегнул одеяло, положил номер «Вестника Воздушного Флота». В зеркальных окнах Варнемюндэ был Урал. Эрмий сменил борт-механика, державшего рули: по правилам перелета, выработанным в Берлине, авиатор должен был управлять аэропланом, когда внизу были опасные места. Левберг крикнул. Морщинки в углах его глазниц залучились улыбкой: версты на две ниже плыл крошка юнкерс. — «Андрей, догнали!» — закричал Эрмий. Ах, как хорошо жить! Он толкнул ручной рычаг и через минуту «Варнемюндэ» обогнал «Исследователя», как миноносец баркас. Воздушные капитаны неистово отмахали приветствия. К стеклу пассажирской кабины с любопытством прижался пятачок медвежонка. Эрмий выключил центральный мотор, стараясь не терять комариной точки юнкерса. Внизу плыли зеленые возделанные холмы, светлые реки, густые листовенные леса: дуб — липа — клен... «Европа!».

Воздух стал более влажным, легким и теплым... Может быть оттого, что внизу были неузнаваемо знакомые, по далеким — как детство — зовам, места. В садах и холмах, в зеленых, синих и серебряных тюбетейках минаретов и колоколен, разжеванный на куски жирными губами оврагов, причалил Демск. Эрмий, как школьник, вписал его в торжествующий круг полета, поджидая брата... Вот эта горка на берегу реки, на берегу тишины, разбульканной речкой

«Сутолкой», — там, в теплые европейские ночи, в саду цветущей вишни, он... или — нет, разумеется не он — как смешно было думать, что это он, который теперь видит людей такими маленькими! — один знакомый мальчик, его тезка, шептал свои признания кареокой и пышнокозой девушке. Белый круг аэродрома приплюснулся на плоскогорье, за несколько верст от города, у тихих берез старого кладбища, где — давно-давно — были похоронены казачий полковник Платон Иванович Бронев — с единственной своей супругой (мама милая, милая!) — и маленькая неведомая сестренка, Люба. Кругосветный путь был закончен. Впереди, после Урала, оставался перелет над населенной равниной, такой легкий, что о нем не стоило и думать.

Эрмий снижался. Аэродром был в красных знаменах, в растянутых трапециях толп. Казалось, тысячи сэндвичей пришли возвестить о невиданном гала-представлении, полном прекрасных и смелых движений знаменитых акробатов, наездников и борцов, или, может быть, о диких схватках башкирского Сабан-Туя. Толпы, в атавистической своей тоске, ждали героев и зрелищ. Взмахи знамен и дым сигнальных костров сказали пилоту о силе и направлении ветра. Пилот снизился парашютирующим спуском, аэроплан остановился плавно и быстро, пилоту казалось, что его поддерживает нечто, летящее в нем самом, в высь. Он оглянулся. Юнкере торопливо пыхтел на краю неба. Его нечеловеческий шум еще сдерживал рамки зеленого поля. К Варнемюндэ подбежали Шрэк и Фукуда. Оба они были в новеньких европейских костюмах, в крахмальном белье. Шрэк был красен от солнца.

— Такой азиатской встречи не было и в Азии, — сказал он. — Ну, спасибо, вы скоро обернулись.

Он честно отказывался от почестей до прилета Варнемюндэ. Герр Фукуда готовился к банкету. Поблескивая очками и золотым зубом, японец выпрашивал и долго повторял, заучивая:

— Да здравствует совиэцкая Россия!.. Это, ведь, Россия, герр Бронев?

Андрей подрулил к Варнемюндэ, выключил мотор. В тишину рванулся рев толпы, знамена окружили авиаторов, — лес. Кричал речь башкир. Кричали люди. Татарин с асаковской бородой, в глубоких калошах, в жилетке поверх желтой косоворотки, в бархатной тюбетейке, наставил в Эрмия палец-коротыгу, затянул, как «апельсин-лимон»:

— Эта наша города апицер-малайка! Малайка-летайка!

Малайку-летайку подняли и понесли. За ним поплыли: Шрэк, Андрей, Левберг, Фукуда, борт-механики. Нестягин заперся в кабину Юнкерса. Медведя вели за веревку настоящие малайки.

— Мне кажется, это не совсем еще Европа, — сказал Шрэк, покачиваясь на сильных и потных плечах.

— Сюды! Сюды! — кричал авиахимик.

С помощью милиции и комсомольцев летчиков отвоевали, отвезли в гостиницу «Башреспублика», караулили, пока они переодевались, чтобы доставить на торжественный банкет.

В СССР, окончив будничные свои дела, люди занимаются мировыми и принципиальными вопросами. Поэтому считалось, что банкет в честь иностранцев должен иметь, так сказать, дипломатическое значение. Столы были накрыты в партере Гостеатра, откуда предварительно вынесли на улицу десять рядов кресел. На балкон и в ложи выдавались специальные билеты, чтобы народ мог посмотреть на пир и послушать знаменитых местных ораторов. Речи говорились о международном положении и о пользе сближения Германии с СССР. Из кушаний и вин также преобладали основательные: пельмени, пироги, рыковка, настоящая на апельсиновых корках, плававших тут же, в графинах. Шрэк сказал, что хотя он не компетентен в вопросе о правительствах, он хотел бы, чтобы они, по крайней мере, не мешали заниматься культурной работой. Эти слова были признаны за гвоздь банкета и переданы по телеграфу в центр. В тот же день три почтенных джентльмена без всякого банкета подписали в Лондоне протокол, предусматривающий разрешение Германии на постройку ста эскадрилий ист-

ребителей и бомбовозов, в случае совместного выступления держав против большевиков.

— Да здравствует советская Россия! — сказал герр Фукуда.

— Банзай! — крикнули присутствующие коммунисты. Все выпили.

После речей на сцене появились певцы, танцовщицы, музыканты. Скрипач венской оперы, окопавшийся после плена в особнячке с фруктовым садом и дебелой женой, заиграл знаменитую серенаду, до того одинаковую на всем земном эллипсоиде, что Эрмий стал испытывать муку и пошел к выходу.

— Ты куда? — остановил Андрей.

— Надо же мне зайти к Заозерским.

— Ну, расскажешь, расскажешь. Только смотри, вечером обязательно возвращайся, милый! Устроим тарарам.

Андрей колотил в спину Шрэка, втолковывая, что выпивка с начальством слишком чинная, что они обязаны с честью закончить вечер в «Башреспублике», sprysnut' их авиационную дружбу. Шрэк показывал печатные правила, качал головой.

— Брось! — возмущался Бронев. — Вы уже установили рекорд. Теперь вам переплюнуть осталось до Берлина: какие здесь правила?!

— *Dura lex, sed lex!** — вздохнул немец.

— А по-русски так: «Дурацкий закон нарушить не грех»! — перевел Бронев.

Старый двухэтажный особняк Заозерских наискосок от Успенья. Здесь тишина девяти десятых человечества. Вечер. От этой тишины человеку тошно, пальцы нехорошо сжимаются — чтобы вырвать с корнем — и ловят пустоту. У

* Старинное латинское изречение: «Суров закон, но он — закон» (*Прим. изд.*).

Эрмия были крепко сжаты скулы; но на знакомом крыльце, вместо медной плиты — «Петр Петрович Заозерский» — вывеска — «Контора Госпароходства» и — ниже — татарские крючки. Эрмий заглянул во двор. Вместо травяной тишины, там стояли большие поленицы голубых веялок. В самом центре, в Ноевом ковчеге корыта (на Арарате двух табуреток), молодая татарка стирала белье.

— Вы не знаете, куда переехали господа Заозерские? — неизбежно сказал Эрмий.

Женщина выпрямилась, прислонив руку выше кисти ко лбу, чтобы пот не капал в глаза, смотрела, шурясь.

— Ух, ты бульна фасон кабалер!

И снова принялась за стирку.

Эрмию стало весело, он повторил. Татарка оскалила черные крашенные зубы.

— Гаспада сапсэм вышли. Абтраган гаспада!.. А стара барыня тута... — Она показала на флигелек-баню, у края двора.

Эрмий подошел к баньке, постучал.

— Кто там, экскурсия? — закашлял предбанок.

— Здравствуйте, Софья Александровна! — сказал Эрмий.

Старуха открыла. Эрмий смотрел, выжидая. Помещица стала совсем седой, сухопарой. Платье и обувь ее были стары и очень тщательно зачинены, опрятны.

— Чем я обязана? — спросила она громко: голос ее приказывал всю жизнь.

— Вы меня не узнаете?

Старуха вгляделась.

— Эричка! — улыбнулась она. — Слыхала, слыхала! Так, значит, не врут?.. Ну, проходи, милый. Посмотри, как нас Бог наказал.

Банька была неоштукатурена. На бревенчатых стенах — занавесочки, картинки, фотографии. По бортам комнаты плыли деревянный стол и деревянная кровать с белком подушек. Прямо, у стены, как Баба-Яга, присело пианино. За нотами, на старинном дубовом стуле, согнулась девонька-комочек, тихоня.

— Ступай, Веринька, на сегодня будет, — сказала старуха.

Веринька сползла, перекрестилась на угол в иконах, растаяла.

— Забыли товарищи, не отобрали, — пояснила Софья Александровна, вздохнув на золотую жуть. — А Петра Петровича убили, вы знаете? Взяли заложником, когда наши подходили к городу, посадили в баржу. Оттуда никто ведь не вернулся.

Рассказывала она беззлобно, строго. Быть мученицей господней, за грехи мирские, разве не почетнее богатства? Но Эрмий не видел сердца старой гордости, дивился. Он чиркнул спичку, закурить. Под столом кукарекнул горластый петух.

— Вот, так и живу, ни с кого не прошу, — говорила, прямясь на мореном дубе, старуха. — Ученицы у меня, курочки... Да мне много ли надо? По гостям я не хожу, хотя осталось еще несколько достойных фамилий. Некоторые, из татар в особенности, даже хорошо живут. Все-таки есть своя заручка. Только ведь, раз пойдешь — начинаются угощения; а я отплатить тем же не могу. Вот и сажу.

Эрмий расширил грудь. Пауза.

— А Вероника Петровна с вами живет?

Старуха закивала.

— Знаю, мой милый, знаю! Нет, Никочка нанимает вдвоем комнату... Ох, трудно ей, милый, трудно! Нам-то старикам все равно, последнее испытание.... Пробовала Никочка на сцене играть, в клубе этом. Но, ведь сам знаешь, нынешних-то. Сажу раз я за кулисами, смотрю на нее. Играет Никочка, хоть уж не как настоящая актриса, но видно старается, старается. Кончился акт. Наскакивает режиссер, что ли, кричит... — Софья Александровна понизила голос, чтобы смягчить ругань: — *«Сволочь, ты прошла через стену!»*. А какие там стены, занавески одни!.. Ну, тут я подошла и прямо так ему и сказала: *«Хоть и ваша власть, а хамская!»*.

Красная жизнь гордости снова плеснулась за трупом щек.

— А теперь... — прошептал Эрмий.

— Теперь Никочка пианисткой служит. В ресторане «НЭП». Ну, ничего, живет. Вот только, как узнала про те-

бя, пришла ко мне пьяненькая, Бог ей судья, и стучала кулаком по моему адресу...

На крыльце затопали шажки — зазвенкали бубенчики — ребят.

— Вот теперь наверное экскурсия! — поднялась Софья Александровна.

— Какая экскурсия?

Эрмий не мог сдвинуться.

— А это, Эричка, учительница тут одна. Потешная! Все водит ребят смотреть, *как живет бывшая буржуйка...* Пусть смотрят, пусть!..

Она впустила в комнату молоденькую девушку, стриженую, белобрысенькую, курнофеечку. Девушка кричала малышам, чтобы не лезли, становились в очередь. Они протискивались, наполняли комнату, как банки с цветами.

— Вот, детки, — сказала хозяйка, — если бы вы пришли в гости в старое время, я бы подарила вам шоколадных конфет.

— Софья Александровна! — сказала курнофеечка строго; — не забывайте, что дети у вас с в о с п и т а т е л ь н о й целью.

— Ну, молчу, молчу!

Эрмий встал.

— Завтра мне лететь, — сказал он. — Я хотел бы взглянуть на Веронику Петровну... Где этот ресторан, «НЭП»?

— Повидайся, повидайся! — закивала Софья Александровна. — Утешь доченьку. Это тут недалеко, на Воздвиженской, номер 16.

— На Октябрьской, — поправила девушка.

— Ну, как по-вашему, там...

— И не ресторан, а пивная.

Эрмий поцеловал руку Софьи Александровны, бормоча: «Не буду вам мешать»... и еще что-то. Ему было почти жутко. Старуха обрадовалась, поцеловала в лоб.

— Вот, дети! — воскликнула она. — Это авиатор! Тот, который прилетел к нам на большой птице! Вот видите, какие люди бывают у буржеек!..

— Софья Александровна, — опять прикрикнула девица, — вы обещали!..

Эрмий захлопнул за собой дверь. Были сумерки. В небе, нестерпимым зовом, плыла вечерняя Венера. Он шел по знакомым плитам так же, как летел через Великий Океан. Кругом было такое же неясное, нераспознаваемое вещество, как эта улица. Он видел звезды и слушал рев моторов. И еще была память: кипарисы — факелы мрака, пальмы — «фейверк вееров», — цветы величиной с голову женщины и, от огромной звезды, в море — светлая тропа, точно это не звезда, а маяк. Мир! Мир! Мир!..

— Ты за нее не заступайся! За такую шваль не заступайся! Я ей в морду дам и все!

Эрмий остановился. Булькал рояль, светили фонари: «НЭП». Он вошел. Таперша жарила «Пупсика». Люди советских пивных, одинаковые везде, смотрели на Эрмия. И, в первый раз в жизни, ему стало неловко, что на нем хороший костюм.

— Вам какого: пильзенского или мартовского?

Голос был знакомый, как плевок.

— Литр! — сказал Эрмий.

Рядом сидел извозчик, башкир. Эрмий, как в детстве (этот город — детство), спросил:

— Извозчик, ты билибеевский?

— Моя? Моя — Билибей...

Эрмий пил залпом и смотрел на тапершу. Подкрашенная полная женщина. — Так это и есть это! — Ему хотелось уйти. Мир вокруг был иррационален, он не мог войти в координаты его точного мозга-победителя; но ему было жаль сделанных усилий. Им опять овладело странное ощущение экзотики... Ах, качнуть так немного, развеять и чем это не кабачок в Коломбо? Вспомнил, как любил он в детстве «Музу Дальних Странствий». Теперь красавица была его, по праву, он вернулся и видит: вот она, страна тысячи и одной ночи, здесь! — Впрочем, разве «Билибей» это не — «Билли-Бэй», и разве «Башкирия» не звучит также, как «Мадагаскар»? Мир! Мир! Мир!..

Таперша отпупсикалась. Эрмий почувствовал все свое тело, сильное, чистое. Теперь она его видит. Смотрит, разумеется, так: «Хорошо одетый молодой человек»... Полная рука шмыгнула в сумочку, достала зеркальце — взбить свои коки-завитоки. Эрмий проглотил остатки пива: надо кончать! Он встал и пошел прямо к ней, через проволоочные заграждения взглядов. Она стала краснеть и бледнеть, суетиться и вдруг закричала, точно бросилась вниз: «Эря!». Он отступил на полшага, подумав, что она может броситься ему на шею, протянул — далеко вперед — руку и, улыбнувшись, как японец, вежливо сказал: «Здравствуйте!».

— Я сейчас, — метнулась она. — Выйдем поговорить. Не здесь же!

Она, как на сцене, прошла сквозь кумачовую стену, вернулась в шляпе, с зонтиком. За ней вышел татарин, поглядеть на малайку-летайку. Авиатор галантно пропустил тапершу вперед, чтобы она не уцепилась за руку. Тогда, от одного из столиков, взвился черненький юноша:

— Вероника Петровна, а как же вы-с?.. мы-с?..

— Тосик! — взвизгнула она и вышла.

Эрмий пошел рядом. В его сознании легко, голубой птицей, реял хмель.

— Завтра я буду в Берлине, — сказал Эрмий. — Ну, рассказывайте...

Она заплакала. Он не ждал, что это будет так скоро. Он приласкал ее и она прислонила голову к его плечу. От нее воняло пудрой. Авиатор отвернулся. Недалеко, в кино, пыхтел дизель, веял бодрый запах мазута.

— Успокойтесь же! — сказал он. — Пойдемте! Пойдемте к вам.

— Ох, нет, — сказала она, вытираясь. — Ко мне неудобно.

— Пойдемте, тогда, побудем у меня в номере.

— Я не знаю, Эричка, как...

Он повел ее. Гостиница была недалеко. Они шли «подручку», и говорили о том, о чем не думали. Вдруг, когда они подходили к крыльцу, из окошка верхнего этажа метнулась большая сигнальная ракета, ослепив улицу. Эрмий вспомнил, что брат устраивает «тарарам» и остановился.

Из его окна на целый квартал летел грохот, гармошка, гик. Милиционер сорвался с поста, прошел, подпрыгивая, мимо.

— Ох, нет, милиция... Эричка, я не могу...

Он протянул руку.

— Да, наши ребята разгулялись.

— Неужели мы так и расстанемся! — сказала страстно. И сердце его ударило громче. Он молчал. — Вы хоть бы меня на аэроплане покатали! — нашла она. — Все-таки память будет... — Искра разрядилась. Он видел, что ей нужен не полет, а больше всего — чтобы рассказывать, как она летала; но ему стало жаль ее.

— Хорошо, — сказал он, — я возьму вас в пробный полет. Только надо прийти очень рано утром.

— Вот, прелесть! прелесть! Какой ты милый! — опять заиграла она: — Я приду к вам пораньше и мы поедем с тобой в автомобиле.

Эрмий поцеловал руку, чтобы скорее проститься. Она ушла, оглянувшись, повеяв кистью. Он стоял несколько минут один, в тени. В его сознании осталась пустота. Мир стал холодным — схема. Ромбы. — Кубы. — Одиночество. — Лед. Эрмий вздрогнул, вынул блокнот, толкнул дверь. В желтом свете — конторочка телефона, швейцар в косоворотке, с желтым лицом. — «Вы пойдете на телеграф. Сдачи не надо». — Написал:

Улала до востребования Зое Старожиловой

Милая как хорошо если бы вы были здесь

Канкэрэдэ.

— О-ткрой-те, чер-ти-и!!!

Он провалился, вместе с дверью, в облака, в дымную синь, в пламя красных рож.

— А-а-а! — заорал Андрей. — А я чуть тебя не огрел. — Он покачал кулаком. — Думал опять милиция. Видел ракету? Это мы тебя вызывали!.. Ну-ка, напиток ему. Пей!

— Давай!

Эрмий опрокинул в рот стакан водки. Лед мира загорелся.

— Р-р-р-р!

— Гер-р Фукуда! видели! Что значит русский!

— Очень трудно! — сказал герр Фукуда.

— Ну, как твоя возлюбленная?!.. — рыгнул Андрей.

— Моя возлюбленная... *абтраган*.

— *Abgetragt*? — буркнул Шрэк.

— Вот именно... Налей!

— Так.

Левберг напился просто и колоссально, спал в углу. Андрей и Шрэк объяснялись в любви.

— На войне был?

— На восточном фронте.

— Ну, давай, выпьем на брудершафт. Я, может быть, тебя из пулемета поливал.

Они поцеловались, уколол друг друга усами.

— Русская свинья!

— Немецкая колбаса!

Нестягин не говорил по-немецки. Он держал неизменно улыбавшегося японца и, по сродству — если не душ, то очков, совершенно одинаковой формы и оправы — учил его мелодекламации собственного изобретения: он называл, по очереди, правительства всех стран и прибавлял традиционную ругань. Политика было единственной областью, где он признавал национальный способ выражения своих мыслей. Японец тщательно повторял; но когда очередь дошла до микадо, он потребовал, чтобы ему объяснили, в чем дело.

— Наш микадо бедный: он получает всего полмиллиона иен и занимается благотворительностью.

— Скажите ему: ерунда, — шепнул Эрмий.

— Ерунда! — сказал Нестягин.

Японец покраснел, как учительница, исчез.

— Где же механики и герр Грубе? — закричал Эрмий, увидев, что комната пустеет; но Шрэк сжал его колено, трезвея.

— Механикам надо утром быть у машин. А Грубе... — Шрэк закончил жестом.

Из самой сизой тучи, с полу, взвыла «тальянка». Голос, пьяный, как дым, зачастил:

«Балалайка-балалайка,
Балалайка-стуколка!
Мой миленочек малайка,
А я ево куколка!»

Эрмий нагнулся. У мраморного умывальника лежал парень в солдатской гимнастерке, мокрый и белый.

— Где вы достали такого?

— В Доме Крестьянина, — сказал Андрей. — Надо же показать иностранцам русское искусство!.. Постой. — Он зажал парню нос, влил водки. — Хвастался, черт: перепью, дескать, летчиков. Лежи!

Дверь отворилась.

— Вон!!!

Молодой человек в милицейской форме вежливо поклонился:

— Позвольте представиться.

Андрей вгляделся.

— А! Ну вот, теперь достаточное количество ромбов. Садитесь, садитесь...

— Начальник милиции, Дроздов.

— Выпейте, товарищ Начмилдрозд! Вот этого!

Начмилдрозд выпил

— Нельзя ли, граждане, как-нибудь потише?

— Я прилетел и отдыхаю! — качнулся Андрей.

— Собственно говоря, я ничего не имею, — сказал, виновато, Начмилдрозд, — но... пассажир сюда один приехал... — Голос у начмиля отсырел. — Следовательно ЦКК! Понимаете?

— Слышь, Ермошка, кака!

— Прямо, потом направо, — открыл тот невидящие глаза.

Андрей загрохотал.

— Начмилдрозд ты или баба? Раз у нас баб нет, значит остается шуметь! Имею я право в своем номере...

Начмилдрозд быстро потер лоб: — Эврика! Вернейший способ избавиться от гнева Змея Горыныча и, в придачу, провести ночь с такими знаменитыми людьми: — Есть девочки! — сказал Начмилдрозд и потом долго ручался за их качество и безопасность.

— Идем! — встал, примериваясь к бурной погоде, Андрей. — Кто еще?

— Я летел через Сибирь... какая пустота!.. нет, надо вырывать пограничные столбы, — бредил Шрэк и шел.

Эрмий отмахнулся, он едва стоял; Андрей грохнул насчет того, что завтра он будет с жинкой, подхватил, сунул ему гармошку:

— Жарь, Ермошка, на гармошке!

Ермошка жарил.

— А ты?

— Что-вы-что-вы-что-вы! — ответил Нестягин и, как щит, взвалил Левберга.

Андрей неприлично ткнул его, пропел из «Сказок Гофмана»:

— *«Вся суть в механике»!*

И вот, заведенные, с грохотом и громом они разом вывалились, поплыли. Следовательно, Змей Горыныч, маленький, больной, шагал по коридору, не мог ни спать, ни работать. Увидев своих врагов, хотел высказать им коллекцию горьких истин, но вдруг вспомнил: гром битв, ночевки в канавах траншей, колыбельные песни пуль. Революция... Авиация — тоже революция. Он махнул рукой.

Японец смотрел на шествие, приоткрыв дверь своей комнаты. Японец был в розовом кимоно, в желтых соломенных туфлях. В левой руке он держал алфавит картоночек, заменявших ему блокнот, правой манил Эрмия.

— Герр Бронев, что это такое го-ро-шо?.. Горничная никак не могла мне объяснить и все смеялись, вот так...

— Хорошо?

— Хорошо.

— Ну, вот, когда она вас поцелует, это — горошо!

Японец качнулся и вынул из-под кровати посуду самого определенного назначения.

— Горошо?

Они стояли друг против друга: японец — маленький, улыбчивый, в кимоно, в туфельках, совсем — сказка, и — пилот, в ловком полуспортивном костюме, со значками призов и побед, всклокоченный, прекрасный, словно Фузи-Яма, извергающийся хохотом.

— Ерунда! Вот это, Фукуда сан, суцая е-рун-да! — ляпнул он по-русски и пошел в муть, в качку, в облака.

Руки его, выправляя крен, двигались, как эйлероны.

— Р-р-р-р... ну и болтовня! — правил Эрмий. — 45 градусов. Ах, как хорошо! Делать кругом, что хочешь! Жить! — Он раздевался, бросая на пол одежду. Вспомнил, что едва прикрыл дверь и провалился в неощутимые простыни. — Зайдэ, Зоя, жизнь! Я прилечу к тебе через океан. Через волны и волны!

Японец записывал автоматическим пером свои дневные впечатления. По договору с «Асахи», он должен был получить за свои очерки особый гонорар. Он писал о том, что обед в России (эти изумительные «щи»!) стоит вдвое дешевле, чем в Японии и, следовательно, будет весьма патриотично, если русские жиры поплывут навстречу японским шелкам и японской дешевке. Ибо тогда те, кто любят носить русские рубахи и приветствовать друг друга бурлящим и жарким словом «товарищ», станут гораздо спокойнее. Он писал также о том, какие эти русские — чудаки: они живут, например, теснее японцев, а для маленьких птиц строят специальные домики, которые называются «скворешницы»...

За открытым окном, бесшумно очертив силуэты берез и лип, вспыхнула зарница. Тогда японец отложил работу и постоял у окна. Он вспомнил свою несравненную родину, водопады и ночи, достал альбомчик, где на обложке были колючие лапы криптомерий и пушистые, как сон, обезьянки и вдали — конечно — и море, и парус, и Фузи-Яма, набросал «хоку».

Лет лучекрылой птицы
К тяжелой вернется земле.
Ночь. Тишина зарницы.

Он разделся, выключил ток. Лежа, он долго смотрел в темноту, в его глазах плыли цветные хлопья: — хризантемы, яркие пояса женщин, синие рубины океана и пена волн...

И рядом, за стеной, пилоту Броневу всю ночь снились женщины и волны. Он открыл глаза. В белой пене легкого платья качнулись круглые бедра. Рядом — за белыми лучами — белая дверь. Подмигнул закинутый крючок. Вероника стояла наклонившись, опираясь голой рукой на его подушку. Он не смотрел в лицо. За вырезом платья волны груди и темная, как несхлынувший еще сон, тропа. От нее чадило страстью. Женщина старалась болтать, как будто все было, как всегда. — «Вы соня»... — «Вот я пришла, а вы спите»... — «Стыдно-стыдно» — но в голосе ее нестерпимо кричала чуть слышная жаркая хрипота. Эрмий легко, легче желанья, протянул руку. Выше чулка скользнуло тело. Женщина шептала: «Что вы делаете»... — «Не надо», и не сопротивлялась. И было бешено странно, от хмеля и радости, оттого, что все, о чем невыносимо было мечтать в дни, когда счастье нужнее хлеба, так невыносимо просто.

Она сидела, разглаживая складки платья, пухлые пальцы перебирали шпильки, пуховку, зеркальце. Все было, как всегда. В дверь постучали. В коридоре топтался шофер. Авиаторы его «угостили» за ночную гоньбу, он успел опохмелиться, говорил пьяно, что стучал к ним, но они послали его «в одно место» — как быть? Эрмий заглянул в номер брата. Шрэк и Андрей спали, обнявшись, на полу, — для прохлады. Здесь же, на диване, спал Начмилдрозд. Гармонист печально допивал из липких стаканов, сидел без рубахи и, раскрыв рыбий глаз на голубую ясность неба, тихонечко потягивал тальянку—

...Сошью кофту красную.
Вставляю грудь атласную.

Пертерпела пернесла
Славушку напрасную...

Подошел Венцек, свистнул. Мускулы под кожей Эрмия нехорошо горели. Он сказал:

— Я возьму автомобиль, съезжу в одно место, через полчаса пришлю за вами. Все равно сегодня вылет задержится: Шрэк не полетит, не проспавшись. Вы можете не спешить. Вероятно, будем ночевать в Москве.

— Gut, gut...

— А меня ты сейчас покатаешь? — напомнила Вероника Петровна, когда он вернулся к ней.

— Да, — ответил Эрмий и у него было ощущение, точно он вынул монету.

Потом подумал, что они видятся в последний раз, — зачем обижать? Он снял с мизинца кольцо с голубым брильянтом, очень ласково надел на палец женщины.

— Вот пусть останется еще эта память.

Вероника Петровна свернула губки: как это так, ведь это она должна быть богатой, а он — он офицер... Ах, все перевернули! Забили ее головку. Не думать! Не думать! Она покачала рукой, любуясь камнем.

Пертерпела — пернесла
Славушку напрасную...

Эрмий взял у шофера руль, потому что боялся, что пьяница наедет на телеграфный столб и потому, что это избавляло его от необходимости «поддерживать разговор».

Навстречу летел теплый ветер, запах полей; поднимавшееся солнце веяло понемногу зной, — утро, как тысячи других, в прекрасных этих краях! Сверкая дюралюминиевым солнцем, подняв крылья, стремительные, как степные кони, стройным рядом стояли аэропланы. Удила толстых витых веревок держали их с двух сторон у железной коновязи. Пойманные пернатые, казалось, были гневны. Далеко, в памяти Эрмия, за клубились дымы, поднялись вздыбленные волны суши, он сказал, глядя вперед:

— Каан-Кэрэдэ!

Она сочла долгом прочитать вслух, чтобы показать, что она не совсем еще забыла иностранные языки:

— Warnemünde.

Эрмий приказал шоферу ехать обратно, за борт-механиками. Он отвязал «Варнемюндэ» и запустил моторы. Теперь он с удовольствием заметил, что она бледнеет, боится. Он засмеялся, помедлил и велел ей сесть рядом, там, где обычно сидел Левберг, подумав, что если оставить ее в каюте, она может разбить окно. В баках самолета осталось всего шестьдесят килограммов горючего, железные бочки бензина тяжело давили землю. На одной из них сидел старик-сторож, дымил собачьей ножкой. Эрмий пристегнул женщину ремнями, потянул рычаг. Легкий самолет взял подъем на 1000 метров в несколько минут.

Эрмий поднимался все выше. Он забыл про женщину. Пьянил прохладный ураган, внизу было мягкое, как зеленые мшистые кочки, дно. Яркие уральские изумруды холмов, темно-зеленые леса. Три реки тремя светлыми поводками держали даль. Он увидел конский волос железнодорожного моста, вспомнил, как одиннадцать лет перед этим он уезжал на запад, навсегда, смотрел, прощаясь, на город сквозь грязное стекло вагона третьего класса. И вот, снова вернулся с востока. Мир! Мир! Мир!..

Женщина завизжала, тронула его за плечо. Тогда он увидел, что ей холодно, что она смешно смотрит прямо перед собой на стрелки приборов и зажимает уши пальцами. Она все время жалась, то в одну, то в другую сторону, как будто она каталась в лодке, по Деме, и кавалеры, сидевшие рядом, распалились. Не убирая газа, он бросил аэроплан на снижение и взял руль на себя. Самолет, с разбегу, взлетел на крутую гору, на сотню метров. Женщина вцепилась в ручки кресла, поджала ноги. Она кричала и слышала, что крика нет. Вдруг аэроплан перекачнулся, стал падать... — А-а! Холод схватил нижнюю часть ее живота, пополз, как удав, по коже. Она закрыла лицо. Эрмий захохотал, подумал, что теперь сделал все, что надо, и стал быстро снижаться. Он спускался спиралью, следя за красной чертой креномера,

кренья крылья до предельного угла. Рычаг руля глубины и эйлеронов он держал, по привычке, двумя пальцами левой руки, — в рубцах штурвала, — поглядывая через плечо.

Женщина томила в головокружении, тошнота комом сматывала внутренности. Она взглянула на сжатые губы пилота и внезапно поняла, что он знает все, что она испытывает и поступает так из бессознательного пренебрежения. Даль ее жизни, озаренная неожиданным волшебством надежды, что вот — человек с неба, рыцарь, вырвет ее из плена (как знаменитый Дуглас Фэрбэнкс на коврейном самолете), стала чудовищно безнадёжной. Снова будет *настоящая жизнь* там: города, курорты, театры; других женщин будут любить авиаторы, поэты, богачи, а для нее судьба припасла... Тосика и Мосика!!!

Она испугалась этой дали и, испугавшись, оглянулась. Кругом вертелась близкая бездна. Крылья, словно раскрытые от страха руки, ловили небо и землю. Небо было синее, как ужас, земля — зеленая, как смерть. Вероника взвизгнула, закрыла глаза. Руки поймали какую-то покачивающуюся опору перед собой. Она схватила ее, прижалась всем своим мягким переполненным телом, повисла.

Рычаг, соединенный с рычагом параллельного управления, выскользнул из-под руки Эрмия. Стрелка креномера, хохотнув, прыгнула за красную черту. Пилот обеими руками схватил штурвал, грубо рванул женщину. Аэроплан скользнул на крыло. Эрмий выключил моторы, закрыл доступ бензина. Самолет перешел в пикирующее падение, стремительно набирая скорость. Секунда — и он снова стал управляемым, полетел горизонтально, повинаясь рукам человека; но земля впереди вздулась холмом — творение Эрлика — под брюхом Варнемюндэ затрещали подкосы...

Стыд ударил по полове пилота тупым молотом.

— Позор-ааа-позор!!! — завывало в черепе. — Сломал шасси из-за бабы! Бабы!!! На глазах у всего миир-р-аа!!!

Крылья «Варнемюндэ» — от толчка опустились, как у Ю 13.

Кунь-Коргэн стоял на крыле, бил в бубен и кружился.

Верху — лысое Небо, внизу — косматая Земля.

Круг и Костер.

Небо звенело, как синий колокол:

— Там-тум — там-тум...

— Черт-черт-черт! как трахнулся — раз чудится такое — такое!

Эрмий подошел к Шрэку, крикнул:

— Как хотите, как хотите: я сейчас же лечу домой! Надоело!..

Он даже не взглянул на дымное озеро Берлина (обманул репортеров и фотографов) и — шоферу в ухо:

— Бремен штрассе 9!

Бросился в лифт, толкнул мальчика.

Этажи. Пять.

— Наконец — наконец — наконец!

Жена обняла его, прижала... Ах, лучше — лучше всех этот поцелуй — как сестры.

— Я так устал — устал — да, совсем устал! Живешь, как солдат — нет своего угла. Вот получу приз — брошу летать.

Она подняла Риту, в голубом-голубом, словно голубой колокольчик.

— Па-па-па-па-па...

— Как хороша, как чудесно хороша жизнь!

Замерев от счастья, он прижал нежное личико к своим губам. Глазки ребенка черные-черные — папины.

Он стал смотреть в них — и — тихо-тихо — они закрыли его мир.

— Эх, русский! — сказал Шрэк.

Трупы лежали на траве, под брезентом. Старуха, жена сторожа ангара, обмыла их. Борт-механики, герр Грубе с киноаппаратом, и другие работали у опрокинутого самолета, в полуверсте от аэродрома. Пришел отряд красноармейцев, оцепили поле. Левберг доложил рассеянно.

— Оперение цело; верхние моторы целы. Кабинка пилотов и центральный мотор смяты. Разумеется — шасси.

Шрэк приподнял край брезента, заглянул в лицо мертвого. В уголке сизых губ осталась розовая пена. Лицо было прекрасным — призрачным, — прозрачным. Там плыли дымы, облака, звезды. Шрэку невольно вспомнились слова старинной музыки:

«Слава Небу, кризис кончен,
И опасность миновала:
Прошла лихорадка,
Называемая жизнью!»*.

Шрэк сказал:

— Фирме важно, чтобы прибыл аэроплан, а не авиатор. Сколько вам потребуется на ремонт? Я даю вам неделю. Не стесняйтесь в расходах. Снимите центральный мотор, сделайте перелет на двух остальных. Составьте подробный протокол. Это очень важно для конструктора. Я говорил: зачем эти носы у аэропланов?!.. Слепое подражание безмозглой голове!

Андрей Бронев бродил по безлюдному краю аэродрома. Нестягин шагал на плечо сзади, опустил голову, мучаясь больше всего придумыванием подходящих слов. Что тут скажешь?

— Старый дурак! старый дурак! старый дурак! — бормотал Бронев, смахивая внезапные, как смерть, слезы... — Не напились бы, ничего бы не было...

— Что вы, Андрей Платонович, при чем здесь выпивка?..

— Знаю... Сволочи! сволочи! сволочи!.. Все скажут, вот напились, а утром один разбился... С бабой... Сволочи. Сволочи. Сволочи.

Подошел Шрэк, сказал, приложив руку к шлему:

*
Thank Heaven, the crisis
The danger is past
And the fever, called living,
Is over at last.

Е. А. Пое.

— Мой долг повелевает мне вылететь немедленно. Прошу вас распорядиться похоронами.

Бронев молча протянул руку. Тогда немец покачнулся, обнял его. Они сели на краю канавы. Молчали. Бронев пил...

Эрмия похоронили за фамильной зеленой оградкой. Андрей не знал, ставить ли брату крест. Андрей поставилobelisk. На вершине его, выше золотых надписей, утвердили четырехлопастный винт.

Были речи — музыка — венки. Очень чужая толпа, скользкие фразы. Бронев молчал. Погибших товарищей было много. Авиаторы гибли, сгорали в воздухе, спасались от верной смерти — в снежных великих горах, в снежные вьюги, — и умирали на аэродроме. Штегер разбился насмерть, под Москвой, задев за березу, в тумане. У Аниховского — на высоте 1500 метров — обломились крылья, и он остался жив, отделавшись сломанной ногой. Он умер в госпитале, от тифа. Вошь была страшнее бездны. И теперь — Андрей видел — вовсе не бездна унесла Эрмия. Вошь. Лицо авиатора было каменно и упрямо...

— Нет, авиатор не может, не может упасть, — пробормотал он.

— *Pardonnez moi?*

Рядом стояла Софья Александровна. Лицо ее было спокойным. Ей было хорошо, потому что на ней было черное бархатное платье и черная шляпа с черным эспри. Платье и шляпу никак нельзя было надеть раньше (не для кур же!), а теперь как раз был подходящий случай. Ей казалось, что теперь снова все смотрят на нее с большим уважением. Дочь она жалела, но еще больше она жалела ее раньше. По ее мнению, Никочка погибла достойно, как дворянка. Бронев увидел, дрогнув: на пальце старухи блеснул голубоватый брильянт. Пилот нахмурился, что-то вспомнил, но нет — забыл.

— Ничего. Я так, — ответил он.

После обряда Бронев, чтобы не лезли в голову нелепые обрывки мыслей (так невероятно трудно ни о чем не думать), сразу ушел к самолету. Бронев очень обрадовался,

что пропеллер уже вертелся. Нестягин закрывал капот. В кабине сидели два пассажира, из местного отдела ГПУ. Бронев кивнул, погладил медвежонка.

— Не удалось, Миша, за границей побывать, одни мы...

Когда юнкерс отделился от земли, Бронев, неожиданно, стал кренить крылья все круче. Нестягин повернул к нему улыбающееся, чуть побледневшее лицо и встретил твердый, как ребро атаки, взгляд.

— Нет, — крикнул Бронев, — нет! Авиатор не может упасть!

Борт-механик притронулся к рулям, но пилот отрицательно качнул головой. Борт-механик понял. Он послушал мотор и отвернулся, прислонив голову к руке, опиравшейся на борт. Внизу плелся проселок железной дороги с выбитыми колеями двойного пути; села, русские, скучные. Впереди были высокие облака. Они были сплошные, огромные. Аэроплан вздымался к их неземным полям. Облака надвигались быстрыми, мягкими скачками. Пилот поднимался выше. Выше облаков. Земля исчезла. Так ему было спокойнее. В облаках аэроплан стало покачивать. Руки авиатора двигались с каждым движением самолета, на движение отвечали движением. Он не думал о них. Руки человека делали необходимое — точно, неспешно, победно. Пилот видел ослепительную облачную поверхность с признаками гор, синеву, ветер. И компас. Пилот ничего не помнил, ни о чем не думал. Лицо его было неподвижно.

Он держал рули.

ЛЮДИ

(Рассказ)

Аэродром был сер, — Чанцев отметил это про себя, так как показалось новым после зеленых аэродромов России. Между каменных ангаров мелькнул, у края левого крыла, массивный паровой каток. Ясно, им выгладили все это слепое поле с большими бельмами опознавательных знаков. Коснувшись колесами своего «К4» (нового выпуска), пилот ощутил ровный и твердый грунт, годный для самых тяжелых машин. Чанцев почему-то по-мальчишески зарулил к ангарам; перелет сюда был до конфуза легок, воздушный океан дремал, точно аквариум, на дне были пашни, луга, дороги, — всюду, где бы ни сдал мотор. Чанцев смущенно дергал рукоятку газа и встал на землю, покраснев. Его торжественно встречали, а весь риск был впереди: там, за черепицами остроконечных крыш, голубели горы. Елтышев, борт-механик, веселый русский человек, испытывал еще большую неловкость и сразу, без оглядки, занялся мотором. У Елтышева было не последнее «бреве» авиатора, но он выпросился в этот полет, как бывший механик, затосковав на аэродромах, на испытании машин, на инструктаже, — повседневной своей неяркой работе. Теперь он думал, что заграница это — прежде всего враждебная, хитрая всякая дипломатия, и решил побыть за спиной Чанцева, который, по его мнению, знал не только дело, но и разное там обращение, как старый военный летчик. К аэроплану шел человек в сером европейском костюме. Человек в сером шел медленно, но все-таки казалось, что он торопится, так быстро он взмахивал черной блестящей тростью. Чанцеву из-за этой неестественности вспомнились какие-то вымышленные образы, вероятно, русских авторов, любящих изображать иностранцев механическими людьми.

— Эц, авиатор, — сказал подошедший.

Он произнес приветствие от аэроклуба, — слова, которые потом плохо запоминаются и похожи на многие другие. По-русски Эц говорил протяжно, но правильно. Чанцев подумал, что поэтому, как знающего язык, его и пос-

лали встретить их. Эц закончил обычным лестным отзывом о достижениях советской авиации и еще насчет смелости предпринятого полета. Тогда Чанцев замахал руками и охотно перевел разговор на данные своего аэроплана, действительно необычные. Эц мягко улыбнулся. Это была новая военная машина, входившая в эскадрилью «Ответ консерваторам», но, вместо защитных цветов, из приличия, самолет был окрашен блестящей алюминиевой краской и назывался почтовым. Эц смотрел, оценивая, как наездник чужую лошадь, пока вбивали колья. И от лучей ли закатного солнца оранжевых тонов, или от профессиональной страсти строгие его глаза разгорались большим огнем.

Вечер шел привычно. Авиаторов отвезли в отель и, когда оба они посидели в ванне, оделись в новые костюмы, их пригласили ужинать. В полетах почти всегда приходилось есть на ночь, и Чанцев, у которого уже были заметны седые волосы, начинал подумывать о своем желудке. Чанцев предпочитал жидкое, суп, на званом же ужине аэроклуба были вина, от которых Чанцев, к общему почтительному удивлению, отказывался, так как принципиально не пил во время больших полетов, закуски, дичь, сласти. Чанцев воздерживался от этой несваримой, как он полагал, снеди и встал из-за стола, не наевшись. Ему представился ночной ресторан, сытная смесь по своему рецепту, музыка, все особенно почему-то привлекательное, так как для него это представлялось как раз тем, что по преимуществу и принято называть «Европой». И Чанцев попросил Эца «показать город». Эц поспешно согласился. Он оживился даже, выдавая неожиданное одиночество. Их, естественно, влекло друг к другу. Авиаторов их возраста почти не осталось; а с молодежью порой завидно проводить время: да, Чанцев заметил, что в темных волосах Эца были такие же серые линии, как и у него.

— Очень приятно, очень приятно, — повторял немец, но бритое лицо его оставалось бесцветным, болезненным, и Чанцев отворачивался в тень, как будто взял лишний кусок с общего стола, краснея за свой, все еще непобедимый, румянец.

Автомобиль с булыжной мостовой влетел на бесшумный асфальт центральных улиц. Чанцев заулыбался от ощущения покоя и безопасной безответственности, если можно так выразиться. Он боялся летать на самолете наблюдателем, пассажиром, когда рули держал кто-нибудь другой, а здесь на этом прямом уличном полу можно было довериться и женщине. Городок жил какими-то слабительными водами, истекавшими из предгорий. Городок двести лет считался курортом, это была выгодная слава и было выгодно на эту славу не скупиться. Чанцев смотрел: улицы чистейше подметены, даже вымыты, самый сильный ветер не поднимет пыли, не то, что у нас, в стране базарных самумов, широкие бульвары городка обнесены металлической решеткой и вдоль тротуаров у невысоких (но, несомненно, таких же благоустроенных) зданий — отдельные деревья, яблони и груши, также загороженные одинаковыми металлическими кружками на шести подпорках. Движение не было большим, но каждый раз, когда проходил редкий вагон трамвая, зеленые огни на перекрестках заменялись красными, и все экипажи и пешеходы останавливались, пока вновь не появлялись зеленые огни. В одну из таких остановок рядом встал шедший позади автомобиль, и Чанцев увидел в нем того же самого обыкновенного, корректного вида европейца, что прохаживался в коридоре гостиницы и потом молча сидел напротив за ужином. Все это казалось таким незыблемым и спокойным, что Чанцев вдруг стал томиться не то от желания сделать мертвую петлю, не то брякнуть бутылку посреди улицы.

II

— Значит, вы, можно сказать, москвич, земляк?

— Да. У меня было там свое дело.

Перед Чанцевым испарялась экзотическим ароматом «московская селянка», Елтышев глотал пиво, каждый раз шумно дивясь его качеству, Эц намазывал на тончайший

ломтик острый сыр и понемногу пил необыкновенное какое-то белое вино.

— Это квас, квас, — повторял Эц, очень довольный тонкостями своего русского языка.

И Чанцев действительно постеснялся распространить свое полетное табу на «квас» Эца. Он тяжело прихлебывал вино, кисловатое и терпкое, как проба на язык сладкого электрического тока.

Оркестрик наигрывал фокс-троты и еще какие-то дикие танцы цивилизованных стран. Авиаторы улыбались, впрочем больше не от фокс-тотов: в ресторанном зале было много длинноногих женщин, в юбочках выше колен. Женщины были нарядные и легкие. Мужчины, как все мужчины своего класса и времени, одевались тяжело, потев в крахмальном белье; но даже Елтышев не испытывал неловкости: рестораны Москвы, где лысые нэпманы позируют в толстовках, были ему противнее.

Эц, естественно, расспрашивал о России. Для него, для европейца, страна эта вот уже 10 лет была источником, прежде всего, удивления, не без испуга, правда, как легендарное какое-нибудь азиатское царство. Недаром журналы, посвященные Азии, больше всего печатали о России.

Впрочем, русские сразу обнаружили свою маниакальную манеру говорить не о том, о чем хочется собеседнику, сводя разговор к неудобным и все равно неразрешимым вопросам.

Чанцев заговорил пространно и путано, что ничего, мол, жить можно, живется и так и так. Что касается коммунизма, если кому не нравится, то его, собственно говоря, не очень густо и, в общем, жизнь разнообразная...

— Есть и хорошее и плохое, — подводил итоги Чанцев, немного неожиданные для него самого, — но самое скверное, господин Эц, от России совершенно, я думаю, не зависит!

Газеты еще недавно били в набат по поводу очередных осложнений на Западе. Чанцев был честен. Он говорил:

— Да, будем драться, если придется, беспощадно. Пусть увидит Европа, что и в технике мы не так уж отстали. Но,

между нами, господин Эц.... я думаю. Вот, если бы сошлись, например, ну, два писателя, что ли. Ну, не какие-нибудь, настоящие. Стали бы они палить друг в друга? Ведь не стали бы! Можно сказать, что мы, до некоторой степени, тоже люди искусства. Разве не правда? Да... нет, пора, знаете ли, пора!

— Эх, нет у тебя настоящей классовой линии! — вздохнул Елтышев.

Эц попытался отделаться шуткой. Этот непривычный диалог оглушал его хуже джаз-банда.

— Можно было бы никогда больше не воевать, — сказал он, — если бы не было ваших большевиков и проклятых англичан.

— Насчет англичан это да, — торжественно ляпнул Елтышев. — Но я большевик и я могу вас заверить...

— Вы большевик! — привстал Эц. — Простите, я не знал.

— Товарищ Елтышев партийный, — подтвердил Чанцев, зачем-то краснея.

— Кто же из вас главный?

— Вы думаете, у нас как большевик, так и главный? — разозлился Елтышев.

— Да... ну, так мне сообщали...

— Нет, прошли те времена и к лучшему. Дело у нас теперь на первом плане. Дело!

— Вы тоже из Гатчинской школы?

— Нет-с, я, знаете ли, нигде не учился.

— А как же вы начали летать?

Эц подумал, что удастся кое-что разузнать о большевистской подготовке.

— Я? — сказал Елтышев. — Ну, не пожелал бы я Вам так начинать!

Елтышев проглотил пиво, дососал сигару. Ему надоело молчать. Он ухватился за случай рассказать иностранцу знаменитую свою историю.

— Я ведь из механиков, вы знаете? — придвинулся он к Эцу. — А случилось это на фронте гражданской войны. Только что я устроился по-хорошему в городе Омске и завел бабу. Ну, как же! Чехи, учредилка, эсеры: большевики, мол,

немцам продались, надо воевать. Служил я сначала ничего. Все равно, думаю, советской власти крышка: где же выдержать против всей заграницы! Но тут объявился Колчак, поперли на фронт вместо чехов. Те норовят назад, объясняют: будет, повоевали, деритесь за свое генеральское дело сами. И вот, вижу я, хоть и не партийный я тогда был, я с 20 году, но все-таки, понимаете, рабочий человек... Вижу, прут наши вперед; а войска эти, всех наций, только наш сибирский хлеб лопают, толкутся по станциям, да косо поглядывают друг на друга. Наверно, не поделились. Мужики их по тылам бьют. Ну, словом, вижу: либо я настоящий белогвардеец и нет на меня такой поганой пули, либо должен я выявить, кто я есть. А давно уж я присматривался к одному фарману. Смирная такая машина, летать давно хотелось. Только офицерье, простите, подобралось у нас хуже, чем в царской. Работаешь, подойдет полковник Шахов, начальник наш, ткнет сапогом легонько: «А ну-ка, — скажет — смажь, Иван, касторкой». Э, да что вспоминать лихое время! Словом, я и надумал. Стояли мы тогда на Тоболе, близ позиций. Выбрал я день пояснее, к вечеру. Завел мотор. Никто не подошел, полагают, что пробую. Сел я за рули. Сколько раз видел, как и что, а никак не могу успокоиться. Прибавляю газ по одному зубцу, и вдруг, чувствую, — сдвинулся. Эх, думаю, все равно, — дал сразу полный. Катился я много лишнего и уж не знаю, как взял на себя рычаг. Лечу. Прямо лечу, боюсь пошевелиться; но вижу, что лечу правильно, на фронт. Через полчаса все кончится и буду я в другом лагере. Уж видел я большевистские окопчики и тогда, как раз на линии, — бац! Внизу взрыв, а я всего метров на 50 лечу. Бац еще, бац, бац! Взглянул я тут кверху и, так и есть, сразу узнал ньюпор капитана Ярыгина, хоть шел он надо мной едва приметный. Поднялась, конечно, стрельба. Ну, вижу, продырявили мне крылья, и тут, со страху, я прямо-таки моментально снизился. Хорошо, степи в тех местах ровнейшие. Попрыгал козлом и остановился совершенно целый. И ньюпора нет. Стало мне очень, понимаете ли, радостно. Отстегнулся я и пошел навстречу товарищам: нате, — мол, — дарю Республике самолет. Те ко мне

бегом, с винтовками, как полагается, и первый же — раз в морду. «Ты, — говорю, — что делаешь?» и так далее. «Я, можно сказать, от белых бежал». «А, — говорит, и так далее, — а бомбы кто бросал?» — «Ослеп», — говорю, — «это капитан Ярыгин с ньюпора в меня целил». Тут подходит военный постройнее. — «Не заливайте, мол, гражданин, не ослепли: был один самолет, а другого не видели и не слышали, а бомбы падали в точности». И, продолжает сразу, что нечего, мол, нам с вами канителиться и сейчас мы вас стрельнем и будет вскорости, вместо меня, ровное место. Начал было я рассказывать, что и как. Тут опять все загалдели и винтовки налаживают, и вижу я, в самом деле расстреляют. Такое меня тут зло взяло и обида, что вот сколько перенес, а смерть от своих же приму. Даже слезы со зла вышли, честное слово! — «Расстреливайте и так далее», — кричу. — «Стреляйте в рабочую, как говорится, грудь!..». — Ну, словом, сказал я страсть здорово. Крыл с высоты 10 тысяч метров, извините за выражение. И вижу я, что-то вдруг не стреляют и рты разинули. Тут опять выходит главный. «А чем, — говорит, — можешь доказать, что по своей воле?». И осенило меня, знаете ли, как свыше. Батюшки, соображаю, с этого ж и надо было начинать! И отчего только жизнь наша зависит, как подумаешь. — «Если, — говорю, — не по своей охоте, следовательно, машина испорчена, а если по своей — цела». — «Правильно», — ничего не могут возразить, — «пойдем, значит, пробовать». Ну, а моторчик перед этим я весь разглядел. — «Крути винт!» — уж командую. Крутят. Дал контакт и даже вздохнул очень так легко. Сразу взял мотор.

— Ты, Иваныч, покороче размазывай, — сказал Чанцев, — музыка начинается.

— Да что уж может быть короче такой науки! — крикнул Елтышев, загребая бутылку. — Так меня в летчики и записали. Что тут сделаешь? Раз от белых прилетел, попробуй откажись. Признают еще саботажником. Всю войну пролетал, как говорится, задним местом: уходит сидение или жмет — только и чувствуешь. Талант, можно сказать. Ну и ничего, цел, видите...

Фрак дирижера взмахнул черными рукавами с огромными запонками в белых манжетах. Тогда, в сладкие волны шума, в цветные прожекторы сцены, влетели восемнадцать светлокожих девушек. На них ничего не было, кроме дикарских каких-то, ярчайших, лава-лава. Груды были обнажены. И казалось неправдоподобным, что здесь, именно здесь, раздавались такие далекие тревожные русские слова. Мысли авиаторов клубились, как серые облака под крыльями. Чанцев смотрел, и черные глаза его раскрывались безумно.

— Ах, — сказал он тихо, и Эц вздрогнул, — вырыть бы вдоль нашей границы колодища до того слоя, где земля теряет твердость, да так бахнуть, чтобы вы отъехали со всей вашей Европой в океан, в Америку. Вот бы зажили! Города наши плохи, а земля пустая. Нам бы с этой землей воевать! И чтоб никто нам не мешал. Америка и Азия...

— Сережка! — крикнул Елтышев.

Чанцев оглянулся. Позади, за соседним столиком, сидел, в позе мечтательного созерцания, его прежний, самый обыкновенный, незнакомец. Мысль об исчезнувшей было ответственности снова напала на пилота. Он относился к своему делу, как профессионал, но он понимал, что в такое время каждый заграничный полет, это — «вещь большой политики».

— Черт, квас, оказывается, действует!

— Не следует смотреть так мрачно. Развлекайтесь!

— Если бы вы знали, господин Эц, до чего нам надоело драться! — ответил Чанцев, извиняясь.

— До черта, — сказал Елтышев.

— А говорят, драка непременно будет. И как подумаешь про скупищу эту, так все бы и разорвал! А что сделаешь? Оттого и в делах спешишь, и себя не бережешь, и оттого, кажется, даже девчонки не берегут своей невинности.

— Понес! — отмахнулся Елтышев.

— Вы не можете этого понять. Вы-то счастливец. Вы не воевали...

Эц гневно выпрямился.

— Что вы! Как вы могли подумать такое!

— Простите, — удивился Чанцев. — Простите, пожалуйста! Но ведь вы жили в Москве?

— А, вот что, — Эц успокоился и сел. — Нет, я своевременно уехал в свое отечество. Я сбил одиннадцать союзников. И, если хотите знать, буду драться снова, когда позовут, без всяких этих рассуждений!.. Я имею орден «За заслуги».

— О! — почтительно сказал Чанцев. — Случалось сбивать наших?

— Нет, не повезло. Я сразу получил тяжелое ранение на восточном фронте.

Эц похлопал тростью свою вытянутую вдоль стола ногу, издавшую звук выколачиваемого чемодана. — «Можно было догадаться!» — подумал Чанцев.

— Я мальчик, в сравнении с вами, — сказал он, чтобы польстить. Он на самом деле почувствовал, что был несправедлив к немцу. — Я сбил только двух. У нас было мало машин и мы, обычно, удирали без боя. Одного на Двине и одного у Золотой Липы.

Острый ток скрючил Эца. Кожаная нога его дернулась.

— На Злото-Липском фронте? — спросил он через минуту. Он опять казался спокойным. — Когда?

— Это было 9-го августа, на рассвете...

Авиаторы сидели рядом, пили вино. Они были одинаково хорошо одеты, чисто выбриты. Порой они подсвистывали и аплодировали ловким «герльз». Они ничем не отличались от других. Они отдыхали, но рядом, совсем близко, и тогда же, они смотрели на свой мир, где все летело, качаясь в петлях, виражах, вихрях, в грохоте и буре.

— Да, это была молодость!

Чанцев возвращался с разведки. Он выполнил задание, он заработал право на еще один безопасный день, жизнь, бой, страх — какой у них был крепкий радостный вкус. Чанцев закипал горячим счастьем игрока. Близко, так близко, что он их слышал в рычании мотора, уныло и жутко взвизгнули пули. Враг был выше; значит враг был сильнее. Чанцев уходил, извивался, бросался в стороны, но немецкий альбатрос был еще проворнее и настигал неумолимо. Пуля

пробила разносный бак, струя бензина ослепила на секунду. И на секунду Чанцев растерялся. Тогда, от мгновенного отчаяния и страшной злобы на это свое грозное отчаяние, он твердо потянул к себе рычаг рулей. И когда мир опрокинулся дыбом, впереди в зените, он увидел колющие кресты немецкого самолета, и рука без команды нашла пулемет. Борьба была быстрая. Теперь же казалось, что аэроплан переворачивался медленно, как стрелка альтиметра, когда идешь вниз с большой высоты. И так же медленно, словно удары шпаги, пронизывали пули разъяренное осиное тело вверх. Чанцев помнил, он быстро выправился и сразу увидел, что альбатрос пикирует, беспорядочно валится в гибель. Чанцев засмеялся от своего злого счастья: он снова был один в небе. Так падать мог только труп.

— Теперь бы мне этого не сделать. Нет прежнего перцу, — дымно сказал Чанцев.

— Девятого августа? — пробормотал Эц; — но на Злато-Липском фронте был сбит только один наш аэроплан. Это было в двадцатых числах.

Да. Фатерланд — Император — Доблесть. Все было тогда просто. Эц первый заметил своего противника. То был пятнадцатый. Пятнадцатый крест на борту, — приятная цифра. Эц рассчитал курс и ушел в облака, чтобы не спугнуть жертвы. Когда крепкие удары сердца отсчитали нужное время, он нырнул вниз и в зеленом и голубоватом мире, ставшем вдруг неподвижным после седого ветра облаков, увидел крылья с ненавистными цветными кругами. Русский вертелся, уходил, не давался сразу; но у Эца было слишком явное преимущество высоты и скорости. Прицел его становился все точнее. Вот, — русский качнулся... И тогда Эц услышал этот странный удар в левую руку. Эц невольно дернул рычаг и вдруг ощутил смертельную его легкость. Поврежденный трос лопнул. Эц помнил свое падение, все, каждый миг. Оно казалось нескончаемым. Альбатрос падал, как осенний лист, выправлялся и опрокидывался снова. А кукла, солдатик его маленького Вильгельма, взятая на счастье, таращилась в углу кабинки по-прежнему невозможно храбро! Поле внизу суживалось и прояснялось, как

пейзаж в зеркальной камере. В последний раз аэроплан выправился в нескольких десятках метров от ярко-зеленого и головокружительного дна. Потом мгновенно стало темно, как будто от удара он ушел в землю. Было очень тяжело разгребать эту черную землю, выбираясь к свету. Наконец, он увидел небо. Белые облака. Но нет, — это были белые халаты, белая марля, тяжелые белые простыни. И свое неподвижное, как земля, тело.

— Нет, я помню точно. Девятого, на рассвете.

— Да, это было утром.

— Вы, может быть, знали убитого?

Чанцев хрипнул.

— Да, что-то припоминается. — Эц поднял голову. — Всех ведь немного знаешь.

— Вот, я думаю... Летаешь, летаешь так и встретишь мать, жену, брата... Вам не приходилось?

— Я не думал начинать разговоров на такую тему.

— Вы хотите сказать, что это вам неприятно...

— О, нет! Что за пустяки. Да... вы говорите девятого? Но ведь это же по старому стилю!

— Ах, совершенно верно. Тогда считали по-старому.

— Значит, 22-го утром?

— Двадцать второго.

Эц встал.

— Ни-ноч-ка!

Опять в шуме чужой речи, смеха, открываемых бутылок, показалось странным это имя и этот очерствевший голос.

— Вот, господа, эта дама — русская. Знакомьтесь. Я должен просить прощения. Я должен уйти.

Чанцев помедлил, взглянул на женщину и на стрелки часов.

— Мне тоже пора. Старт назначен в шесть.

— Как? уже? — обиженно сказала танцовщица.

— Вы знаете, полет..

— О, с вами побудет господин Елтышев! Не правда ли? Он большевик. Это очень интересно.

Елтышеву не верилось в такую удачу. Он взглянул на Чанцева.

— Ладно! — сказал авиатор. — Ты выписься в самолете.

Они расплатились.

— Так вы большевик?

Ниночка села за столик.

Чанцев поморщился от мужской зависти. Хорошо было бы поспать с женщиной, но завтра самый трудный день. Нет, женщина это всегда — финиш. Она не годится перед стартом.

Они вышли в сквер. Город был тих. Только далеко где-то пело радио. Электрические фонари задержали небо сухим туманом.

— Она — дочь русского священника, а теперь очень доступна, — сказал Эц. — Как перепутан мир!

— Не нахожу, что хуже прежнего, — сказал Чанцев.

Он крепко пожал руку Эца.

— Прощайте... Уж с вами-то мы, надеюсь, не встретимся... пулемет к пулемету.

Эц думал: «Сказать ли?» Но зачем?

Мир был так перепутан.

Вот он провел вечер, он пил вино.

Два этих парня... Один думал, что был его убийцей, а другой был большевик. Один был настоящий спортсмен, настоящий товарищ по профессии. У него было смуглое тело атлета и тонкие невеселые мысли. Другой — курносый здоровяк, с таким живописным способом летать... Нет, они должны были быть другими!

Эц ответил на рукопожатие.

Он ответил смутно, обычной вежливой фразой:

— Надеюсь, мы еще встретимся...

Эц долго бродил по комнатам пустой богатой квартиры. Здесь когда-то бегал его мальчик, кричал: папа! Мальчика увела женщина; она не могла вынести кожаной ноги и кожаного корсета. Он ненавидел ее. Ненавидел за последнее отнятое счастье.

— Папа, папа! — жаловался он, подражая своему ребенку.

Он бы отомстил ей сейчас! Она была хуже этих русских, потому что русские были честные враги. Но ее не было; были только русские. Мир был перепутан. Эц должен был что-то сделать и не мог решить. Он устал. Лучше лечь спать и спокойно подумать днем; но день уже начинался. Эц выключил ток. В комнате было светло.

Эц оделся. В передней он толкнул боковую дверь. В маленькой выбеленной комнате спала, разметавшись на широкой кровати, его молодая горничная. Она сонно вздохнула и, не открывая глаз, покорно подвинулась к стене.

— Закройте дверь, Луиза, я ухожу, — сказал Эц.

III

Чанцев шел по аэродрому, закинув голову, всматриваясь в облака, плывшие напротив, с гор. Горы не хотели сдаться без боя. Голова, от прерванного сна, была как будто с похмелья, пуста и ломка. Облака клубились. Пилот нюхал воздух, различая знакомые запахи влаги и встречного ветра.

Из-за самолета «К4» вышел Эц.

— С добрым утром! — сказал он.

Чанцев остановился (ему снова показался неестественным этот громкий привет). Чанцев отмахнулся от своих непрошенных дум и пошел навстречу, бормоча, что полагается, о том, как это неожиданно и хорошо,

— Мой долг, мой долг, — отвечал немец.

Кстати подъехал Елтышев на бочке с горючим и разговор переменялся.

— Наша задача — лететь по прямой, — сказал Чанцев, хотя он не должен был говорить об этом до конца полета. — Вот и все. Вечером я пошлю вам телеграмму.

Эц отворачивался и смотрел вверх.

— Вам придется лететь вблизи Мон-Розы, — говорил он. — Могут ли русские моторы конкурировать с моторами лучших фирм? Я подожду лучшей погоды. Что, если

вам придется снижаться в облаках?

— Нет, мотор надежный, — тускло ответил Чанцев.

Ему было неприятно, что посторонний высказывает такие очевидные предостережения, зная, что выбора нет. Он отошел к аэроплану.

— Готово, Сергей Петрович! — крикнул Елтышев.

Чанцев улыбнулся от ровного и легкого разбега. Он взял предельный угол и пошел ввысь. На повороте в последний раз увидел Эца. Немец стоял, по-прежнему подняв голову, губы его были почему-то полуоткрыты и рука приподнята, как будто он забыл сказать что-то. Чанцев проверил курс, послушал машину и ему стало легко. Он удобно откинулся на мягкую спинку кресла. Теплый ветер бил в лицо, ветер тяжелый и все-таки освежающий, как электрический душ.

Чанцев прожил в воздухе не одну тысячу часов и с каждой тысячей острее ждал успокоения полета. Жизнь не давалась даром. Он сделал больше километров, чем от Земли до Луны; но земля всегда грозила опасностью. Жизнь на воздушном дне, если подумать холодно и точно, не была хорошей. Только здесь, за рулями, он больше всего был человеком, свободным и спокойным. Он смотрел вперед. Там, в горах, облака были сплошные; но, все равно, — он давно решил подняться выше них, выйти к солнцу и верить в удачу.

Позади дремал с открытыми глазами Елтышев. Он провел хорошую ночь и улыбался от того же знакомого ощущения свободы. Это походило на 1917 год, когда он в первый раз вышел из тюрьмы. И Елтышеву стало даже страшновато: ведь, по неизбежной логике, вместо тюрьмы, невольно подставлялись — партия, служба, жена...

Голубели горные дали.

Чанцев поднимался выше. Заметно расширялась при дыхании грудь. И теплота исчезала вместе с воздухом. Она казалась такой же осязаемой, плавала у земли и пропадала навстречу холодному блистающему солнцу. Чанцев постепенно застегнул все пуговицы и крючки теплой кожаной куртки.

Облака плыли многими слоями. Сверху они были белые и глухие, как вата. Все меньше становилось просветов с темными лесными склонами и лоскутными полянами долин. И, наконец, когда ясно надвинулись первые снеговые вершины, облачное неровное дно растеклось прочно, повсюду.

Чанцеву вспоминались рассказы и очерки, посвященные авиации, за которыми он следил. Там встречалось много торжественных словечек, вроде — неизъяснимый, невероятный, чудовищный (ая, ое) по поводу самых обыкновенных вещей: скорости, облаков, ветра. Он, не замечая, испытывал приятное сознание превосходства над авторами. Ему было забавно читать, что привычные полеты, в которых приходилось участвовать этим, очень в сущности боящимся за себя людям, всегда выдавались чуть ли не за рекордные. Рассказывалось, например, как едва не оторвало руку ветром, когда писатель прощался с провожавшими, а потом выяснилось, что машина-то была малосильная, и «ветер», т. е. скорость, была, значит, не велика...

Стрелка альтиметра поднималась к 4 тысячам, но горизонт был ровен и низок. Из облаков нельзя было выйти, вероятно, раньше, чем через час, и Чанцев слушал мотор. Нет, в нем не было никаких шепотов предательства.

Так он летел, слушая песни радостно освобожденной силы.

Вдруг под ногой густо скользнуло что-то неприятное и жирное... Так, давно-давно, в детстве, он, мальчик Сережа, раздавил жабу.

— Масло! — закричал механик.

Чанцев поморщился: это было неделикатно, — ведь он, может быть на секунду раньше, заметил опасность.

Контрольный аппарат, на который Чанцев обращал всегда меньше своего внимания, вопил последним килограммом горголя.

Пилот не испытывал ни страха, ни досады. «Что ж, так ведь должно было случиться когда-нибудь». Чанцев посмотрел вниз, на белое лишенное волн море, бесшумное, как мертвый с виду капкан. Снизиться туда — последний шанс.

Поэтому нельзя идти вперед, ожидая, когда скоро остановится мотор. Чанцев повернул к снежной клыкастой вершине, поднимавшейся над всеми облаками, словно единственный в море айсберг. Там надо было найти ледяную площадку и остановиться. Чанцев шел туда со своей высоты. Он ничего не видел, кроме скал и отвратительного ледника, покрытого трещинами и моренами.

Вспомнился летчик Земзеров, черный и ревнивый, завидовавший ему. Чанцев увидел его довольную улыбку и нахмурился (так он горячо думал и злился), как будто они были рядом, и еще потому, что все это не нужно, ложь: ведь, может быть, над облаками не найдется ровного места и надо будет уйти в их нежнейший омут, где зубья скал и мгновенная смерть... Иль, может быть, снова ясность, широкая долина, луга и пашни!

Ему привиделось приятное зеленое поле. Он коснулся его и прокатился шутя, как бильярдный шар. Нарядные крестьяне бежали к самолету. Можно даже переночевать в их деревне, дожидая лучшей погоды (в награду за такие хлопоты) и попробовать, не выйдет ли чего с девушками. Вот с той, веселой...

Поле поседело от снежных одуванчиков. «K4» миновал вершину и на другом склоне пилот увидел отлогую снежную террасу. Высокие каменные стены держали ее с трех сторон. Она походила на белое атласное сиденье легендарного трона, оставленного вымершими великанами.

И опять Елтышев не удержался, крикнул: «Вот!» На этот раз Чанцев свирепо махнул в зеркало кулаком, и Елтышев замолчал окончательно. Он знал, что руки, все тело пилота, теперь — одно сознание, более мудрое, чем всегда отстающие мысленные выводы. Он пожалел, что нарушил равновесие этого телесного разума. Но Чанцев сделал еще один широкий круг, измеряя террасу, всматриваясь в зернистый снежного цвета лед, чтобы забыть все свои мысли.

Он уловил, следя за обрывками высочайших облачных косм, приблизительное направление ветра и ринулся, под углом, на каменную кручу, покрытую толстым слоем фирна, у верхнего края которого начиналась замеченная пло-

щадка. Чанцев коснулся ее в 10-15 метрах от грибообразного ледяного края и все-таки мгновенно и смутно упрекнул себя, что надо было снизиться еще смелее, у самого отвеса. Здесь каждый метр мог стоять жизни...

Железный опорный костыль скользил по льду, и аэроплан стремился вперед неудержимо. Поверхность, представлявшаяся сверху совершенно ровной, была изъедена отлогими желобками, по которым днем стекала вода. Самолет раскачивался, как сошедший с рельс вагон. Чанцев отстегнулся быстрым привычным движением, чтобы выброситься из кабинки, если колеса не выдержат и аэроплан перевернется. Но скоро начался заметный подъем, и скорость облегченно исчезла. Впереди, почти на излете, надвинулись крупные обломки основных пород. Чанцеву пришлось пропустить один из них между колесами, что казалось безопасным, так как колеса не были соединены осью; но за обломком, в нескольких метрах, лежал второй, и, когда хвост подскочил на камне и пропеллер опустился, Чанцев ощутил упругий мгновенный толчок.

Сердце глухо метнулось.

Самолет остановился.

Елтышев прыгал по льду, озираясь.

— Мы здесь поднимемся! Мы здесь поднимемся!

Пропеллер еще вертелся, почти бесшумно. Чанцев тревожно повернул выключатель...

Глухота тяжело накрыла горы, словно голубой колпак небесного глушителя. Елтышев перестал прыгать. Пропеллер был сломан. Запасного пропеллера не было.

Чанцев стоял сгорбившись. И у него было такое же ощущение успеха и растерянности, как после одного недавнего свидания. Девушка быстро увлеклась и целовала его горячо, но почему-то так и не отдалась в тот вечер. Она смешно боролась (ну, как она могла с ним бороться?), и он вдруг отказался от любимого маленького насилия, которого она ждала. Он думал, отчего бы это? Он сосредоточенно рассматривал ребро излома, прикидывая, сколько времени займет канитель с доставкой сюда пропеллера, и злился: неужели размяк? Но нет, пустяки! — Это всего лишь от желания но-

вого в приключении.

Решив задачу, он выпрямился.

— Ну, Иваныч, придется сбегать в ближайший, как говорят, населенный пункт, — сказал он. — Нам нужен только пропеллер. Так я говорю?

— Только пропеллер, — кивнул Елтышев.

Он внимательно ощупывал вымазанный маслом аэроплан.

— Сели здорово. Это будет, можно сказать, трюк, если поднимемся.

— Черт! Помнишь, я говорил, что надо взять запасный винт? Так нет, Земзеров, сукин сын, засмеялся, вы, говорит, не в Азии полетите, а в культурной Европе. Ну и вышло хуже, чем тогда в Сибири! А?

Елтышев потемнел. Его черные от смазки пальцы осязали острые края трещинки маслопровода.

— Смотрите, как будто нарочно, нарочно!.. Но никого же не было у самолета?

— Ну, ну, ну! — закричал Чанцев, заглушая свои мысли (Эц сказал «С добрым утром» и вышел первый). — Оставайтесь здесь и запаивайте трубку. Я пойду вниз.

— Есть! — хмуро отозвался борт-механик.

Чанцев все еще ступал осторожно, как будто мог провалиться, такого снежного цвета был этот лед. Так Чанцев подошел к обрыву. Был полдень. Облака внизу были белы. Там, где они, крутясь, разрывались, прятался сумрак, облака сыпали снегом. Чанцев взглянул на однообразную линию ледяного карниза и в первый раз подумал: «А где же выход?» Кровь его ударила волной. Даже пилоту здесь было неприятно стоять: ведь в руках не было рулей.

Чанцев подошел к ближней правой стене посмотреть, каков ее противоположный склон. Чанцев взбирался медленно, ругаясь и негодуя. Он не любил гор, т. е. не любил подниматься на горы, ходить по горам. Просветление высоты, сладкий самообман, большой горизонт и, по-настоящему, солнце и воздух — все, ради чего и процветает альпинизм, давалось ему в несколько минут взлета, вместо долгих, ползущих вверх и вниз часов.

Внешняя сторона стены была неприступна. Весь день Чанцев карабкался вдоль гребня и везде, налево от него были кручи, внизу облака, один и тот же мир — стылый, седой, сказочный. К вечеру облака поднялись выше и вдруг залили ледяную террасу, Чанцев взглянул на запад, там рдели огни заката.

— Западня! — подумал Чанцев.

Он спустился рассказать о таких делах Елтышеву. Мысль кружилась однообразно: «Пожрать бы!» Чанцев вспомнил, Елтышев захватил с собой булку и колбасы. В походной фляжке у него всегда был коньяк. — «Сожрет», — думал Чанцев. Он пошел скорее и сразу выбрал верное направление среди темневшей облачной мглы и нашел аэроплан. Но Елтышева нигде не было.

— Иван Иваныч! — закричал Чанцев.

— Ныч-ыч! — дико ответили горы.

Елтышев не отозвался. Чанцев кричал, пока его не перекричали горы, с каменной настойчивостью.

— Ныч-ыч!

— Ныч-ыч!

Пришла ночь. Чанцев скрючился в своей кабинке. Он проснулся от свирепого холода. Было ясно. Чанцев завертелся от боли и страха. «Елтышев, — свалится окаянный!» — думал он; но у него были и приятные мысли: вот, Елтышев спустился где-то и значит скоро явится с людьми, пропеллером, с едой. Вдруг, у нависшей скалы, загорелось ярчайшее желтое пятно. Это могла быть только парадная Елтышевская рубашка, вывезенная из Урги. Чанцев побежал. Рубашка была беспощадно распластана и пришита к брезенту. Рядом стояло ведро с бензином. Чанцев отдернул полог. Под каменным навесом урчала паяльная лампа, поставленная пламенем к скале. Елтышев проснулся и сел.

— Ну, что, Сергей Петрович, дела наши плохи? — сказал Елтышев; но от теплоты, от того, что он больше не один, Чанцев повеселел.

— Ты изобретательный человек, Иван Иванович. С тобой не пропадешь.

- Механика! — зевнул Елтышев.
— Дела, дорогой, плохи.

IV.

Елтышев не съел булки и колбасы, он съел немного, но как ни делился он честно с Чанцевым, на третий день оба проснулись в голод злой и страшный. Елтышев хлебнул из фляжки и закрыл пробкой.

— Дай!

— Ты ведь не пьешь, — скривился Елтышев.

Накануне они еще раз вместе обошли гребень. Елтышев нашел узкий каменный сдвиг, пояс, «бомчик», как назвал Елтышев, они шли по нему вниз, и снова вверх много часов, пока «бомчик» не вывел их на широкий лед. Они кричали от изнеможения и радости и через минуту увидели свой аэроплан. Больше они не пытались выбраться. Тогда в жестком мешке их пещеры, при лиловатом свете паяльной лампы, Елтышев сказал, чтобы отделаться от своих дум,

— Это, я думаю, никто другой, а этот самый херр Эц.

— Что?

— Он маслопровод ковырнул. Больше никого не было. Впрочем, кто виноват? Мы и есть сущие дураки. Я, мол, большевик, здрасьте, пожалуйста, а я два ваших самолета сбил. Потом я узнал, да он сам говорил, что был у него магазин в Москве, потом его разгромили, а большевики доконали. Нечего сказать, приятель. Пьем, говорим, а он, может, фашист!

Мысли мучили Чанцева еще раньше, он понял сразу, но спросил: «Что?» из какой-то последней самозащиты.

— Какие у тебя основания? А ночью ты был на аэродроме? — напал он на Елтышева...

Так они кричали и сквернословили остаток дня, потому что так, вероятно, лучше забывался голод.

Мысли привели Чанцева к обрыву.

Елтышев с утра молча взялся за работу. Ругань больше не помогала. Елтышев изобретал работу, — перематывал амортизацию, мыл замасленный фюзеляж, повернул самолет к обрыву, как будто перед стартом. Потом Елтышев оставил самолет и стал методично выколачивать топором ледяные неровности по линии разбега. От Елтышевской работы Чанцева мутило еще больше. Все казалось ненужным. Он поднялся на край гребня (на правую ручку великанского трона), где можно было лечь, докуривая последние папиросы.

День был ясный, совершенно пустынный. В небе голубом и ровном у снежных и голубых вершин ни одного клочка влаги. Горы, льды. От них блеск и холод, высокое солнце; от солнца на лице холодные зудящие ожоги. Пики, столбы, груды. Дали гор голубые, расплывчатые, как воздух, глыбы голубого неба, облизанные ветрами. И с белой, самой сверкающей вершины течет неподвижная река глетчера. О нем, о леднике, у Чанцева были свои мысли.

— Сидеть и ждать помощи? — медленно, как ледник, думал Чанцев. — Ну, ладно. Сегодня, положим, догадаются телеграфировать в Москву, что самолет пропал. День. Начинают заседание. День. Вынесут постановление. День. Обратятся к швейцарскому правительству. И обязательно будут указать маршрут!

Чанцев перестал считать дни. Корчась от голодного гнева, он видел: швейцарцы справятся насчет платы и потом объявят что-нибудь вроде премии за находку трупов. Так погибли когда-то два итальянских летчика. Их нашли замерзшими в одной из таких же ледяных ловушек...

— Нет! На людей надеяться, двадцать раз сдохнешь! Много ли может человек прожить без еды? Любой паучишка даст сто очков вперед.

Чанцев увидел камень, почти отделившийся от скалы. Он оторвал его и бросил вниз. Камень загредел эхом многих шумов.

— Черт! Надо было не отказываться! Надо было нажать на банкете, пока не стошнило. Тогда бы долго не хотелось есть.

Он вспомнил все эти покорно стоявшие перед ним блюда, — райское изобилие еды. Какой близкий рай!

— Надо действовать! — решил Чанцев и остался неподвижным. Он вычислял. — —

— — подкатить самолет к обрыву, спланировать, идти вдоль глетчера, и глетчер, наверняка, приведет в какую-нибудь коровью долину. — —

Он купит большой хлеб и четверть молока. Чанцев пососал льдинку.

— Нет, на такой тяжелой машине не спланируешь...

— аэроплан едва выправился, набрал скорость и грохнулся о серый, вот этот, выступ. — —

— Ладно! Выкинуть мотор, вылить бензин, вышвырнуть инструменты. Тогда можно поймать горный восходящий ток и лететь.

И это значит — конец полета, срыв. И Земзеров будет говорить за спиной: не надо было посылать Чанцева!..

— Ах, лучше подохнуть назло всем!

V.

Мысли. Мысли, медленные, как ледник.

Горы. Волны застывшего воздуха, жесточайший холод.

И небо. Небо, пустынное, без единого клочка влаги.

В небе —

в голубых далях —

летел бесшумный комар!

Чанцев вскочил. Это мог увидеть только глаз пилота.

Чанцев спрыгнул, побежал, забыл про боль в желудке: ну, да! Помощь могла прийти только с неба.

— Костер! Костер! — вопил Чанцев.

Елтышев понял. Он быстро сгреб моторные тряпки, паклю, деревянный ящик из-под инструментов, обломок пропеллера, плеснул бензина; но костер горел жарко, бездымно. Тогда Елтышев сунул в огонь свой промасленный чемоданчик и он действительно зачал.

Аэроплан приблизился. Это был пассажирский юнкерс. Вот, он заметил их и твердо изменил курс.

Чанцев увидел в цейс наклонившегося через борт, на вираже, пилота. Чанцев вдруг стал легким, что-то поднялось в нем вверх, к горлу, и застряло в горле комком сладкого удушья.

— Эц! Эц! — вылетел этот ком.

Дверь пассажирской каюты открылась и чьи-то руки выбросили большой темно-серый тюк. Он упал далеко, у левого глухого угла террасы,

Юнкерс закружился, снижаясь.

Тогда Чанцев просигнализировал на немом языке, понятном всем капитанам и пилотам света.

— Не садитесь — юнкерсу места нет. — Мы поднимемся сами. — Сломан пропеллер. — Спустите нам пропеллер — Добрый день, Эц — Спасибо — —

Круги юнкерса стали шире. В нескольких метрах от Чанцева упал, брызнув льдинками, никелированный французский ключ с плотно сложенной запиской, зажатой в нем. Пилот юнкерса махнул рукой и повернул к северу.

Чанцев поднял ключ. Эц писал, на этот раз по-немецки, о том, как он рад, что нашел их («хорошо, что вы любезно сообщили мне ваш маршрут»), что все так благополучно и что пропеллер он принесет завтра, утром.

На другой стороне, не так ровно, была приписка. —

«Обязательно информируйте, где будете на обратном пути. Я очень хочу переговорить с вами (здесь несколько слов были зачеркнуты, их нельзя было прочитать)... *Людвиг Эц*».

— О чем? — подумал Чанцев.

Впрочем, немец мог знать многое. Очень было тревожно. Придется скоро дать отчет в порче маслопровода. Не сваливать же на Елтышева!

— «Нет, эту историю нельзя так оставить»...

Но Чанцев был рад, что из противоречия не проговорился Елтышеву.

— Вот, — сказал Чанцев. — А ты говорил.

— Верно, верно — перебил Елтышев. — Зачем бы ему тогда выручать нас? Я не гордый. Сознаюсь. Ошибся и говорю, что ошибся.

— Ну, основания были, конечно, — снисходительно уступил Чанцев. — Что маслопровод кто-то продырявил, и очень умно, чтобы потерю масла нельзя было заметить сразу, это дважды два! Так мы и доложим. Но пока не звони. Поговорим с Эцем...

— Ладно. Знаю. Дипломатия... Ну, а как же!

Они смотрели на тающий в небе юнкерс. Он поднимался все выше. Авиаторы молчали и улыбались.

— Эх, — сказал вдруг Чанцев, — жаль, не сообразили скинуть краюху хлеба.

Елтышев, набрав в легкие воздуха, выпрямился:

— А шутовину выбросили!.

Он не договорил. Они помчались, ковыляя по льду.

Тюк был завернут в серое казенное одеяло, искусно перевязан шпагатом. Чанцев выхватил нож.

— погоди! — закричал Елтышев, — отнесем сначала домой.

— Домой? Ну, хорошо!

Чанцев хохотал. Они принесли тюк к своему логову. В одеяло было завернуто другое одеяло. Потом еще и еще. Сверхъестественное для русского человека количество одеял. И, наконец, в самом центре одеяльного метеорита были — хлеб, окорок, сахар и эти замечательные заграничные банки: кофе, сухое молоко, яйца, сладкий картофель!

И была еще картонка с напечатанной инструкцией, смысл которой сводился к тому, что после голодовки не следует есть все сразу.

— Вредно для живота, — сообразил Елтышев.

На этом основании Елтышев отобрал в свое заведывание все немецкие припасы. Он суетился, он начал понемногу командовать, как в тот раз, когда вдруг опустились красноармейские винтовки. Теперь он развернулся «по-настоящему». Состряпал яичницу с ветчиной и кофе по-варшавски.

Они ели и жмурились. Приятно урчала паяльная лампа, приставленная к ведру с кофе. (Раньше паяльная лампа урчала в унисон с неприятным урчанием в желудке). И булочки были цвета огня, творца жизни. Авиаторы наедались. Они снова становились людьми, теперь им хотелось не только жрать...

Чанцев посмотрел кругом жадно. Теперь проклятые горы казались прекрасными.

— Покурить бы!

— Стой...

Елтышев достал из-под своего сиденья в самолете пачку папирос, завернутую в обрывок газеты с каким-то сумасшедшим заголовком.

— Я нарочно припрятал для такого случая.

Они затянулись мягким дымом, который недавно глотали, как отраву, чтобы заглушить голод, а теперь сыто пробовали на вкус и оценивали.

— Хорошо!.

— Ну, а сейчас, Сергей Петрович, давай отвернем винт, — значительно сказал Елтышев.

Они отвернули изломанный пропеллер, налили масла из запасного бачка, еще раз, вместе, любовно осмотрели самолет. Он снова стоял напряженный и сильный и послушно ждал человеческого сигнала.

— Поднимемся, — уверенно и спокойно решил Чанцев.

На лопасти сломанного пропеллера он выцарапал слова и даты о невольном их плене. И они укрепили пропеллер в расщелине, на вершине самой высокой скалы, видной со всех румбов. Потом Чанцев ушел к радио-пеленгатору и долго, с редким подъемом, поработал над картой.

Так прошел этот день. Морозная мгла медленно потянулась к снегам и звездам. Авиаторы легли, постелив десяток одеял и у каждого осталось еще по пяти, чтобы накрыться. В каменном гроте под одеялами было противостоительно тепло.

— Ты ему не говори, — сказал Елтышев, отвертываясь в сон.

— Ты о чем?

— Ну, что я его за фашиста принял.

— А! Ладно.

Чанцев курил и улыбался. Спать, спать, раздевшись, сняв верхнее платье и сапоги! Старый еврей разбудил и сказал ему в вагоне (Чанцев заснул одетый):

— «Человек, который спит в обуви, испытывает одну шестидесятую часть смерти». Это из Талмуда.

— «Точные, черти! Ну, а если в сапогах и с голодным брюхом? Это, наверняка, шестьдесят процентов. Надо справиться».

Теперь, впереди, была жизнь. Чанцев снова видел мир, лежавший у его ног. Завтра он поднимется над ним и кратчайшим путем, путем высоких ветров, выйдет к теплому морю. Женщины лежат на пляже. На знойных коричневых склонах зреет виноград. Жизнь шагает все быстрее и дальше, и все громче триумфы авиаторов, превзошедшие триумфы цезарей.

Горы, ледяная клетка, все это — ничто, когда о нем думают другие, даже те, кого он никогда не видел и не знал.

Завтра, как сегодня, прилетит черный и серебряный юнкерс и сбросит большой мягкий тюк. Там они найдут новый пропеллер...

Докурив, Чанцев повернулся набок, бездумно закрывая глаза в туманы, в блики, в сиянье.

И он заснул спокойно, как ребенок на отцовских руках, который спит и знает, что о нем заботится кто-то большой, могучий и ласковый.

Приложение

ОТ РЕДАКЦИИ

В рецензии С. Родова о рассказе В. Итина «Люди», напечатанной в № 17 «Недели Советской Сибири», речь идет не только об этом произведении Итина, но и о журнале «Сибирские Огни». Поэтому, принимая во внимание заметку в «Сов. Сибири» от 13/XI-27 г., мы считаем необходимым вернуться еще раз к этому рассказу.

С. Родов определяет направление нашего журнала, как сменовеховское. Достаточно привести два его утверждения:

«Взгляды Чанцевых... укладываются в довольно стройную систему, представляющую собой дальнейшее развитие сменовеховства 1922-23 г.г.».

И далее:

«Идеи Чанцевых находят себе рупор в нашей советской печати».

Из приведенного ясно, что этим сменовеховским рупором по Родову являются «Сибирские Огни».

Редакция приняла и напечатала рассказ Итина потому, что он, несомненно, заслуживает внимания.

Рассказ В. Итина «Люди» (в отдельном издании Госиздата он назван «Высокий Путь») построен на встрече двух летчиков—советского (Чанцев) и германского (Эц), дравшихся во время империалистической войны. Встреча происходит в наши дни, во время заграничного советского перелета, причем ни Чанцев, ни Эц долгое время не подозревают о своем прежнем столкновении, т. к. Чанцев считает своего противника убитым, а Эц, изуродованный при падении, лишь после долгой беседы, в которой, кроме пилотов, принимает участие и коммунист, борт-механик Елтышев, узнает случайно, кто его победитель.

Эц больше десяти лет жил с неопределенным желанием мести. Из-за его уродства от него ушла жена с любимым ребенком, стала несчастной его личная жизнь. Кроме того, он оказывается «старым москвичом», у него в Москве было «свое дело». Таким образом, коммунист Елтышев — тоже враг Эца. Впечатления Эца раздваиваются.

«Два этих парня... Один думал, что он был убийцей — его, Эца! А другой был большевик. Один был настоящий спортсмен, настоящий товарищ по профессии. Другой — курносый здоровяк, с таким живописным способом летать... Нет, они должны были быть другими!»...

Эц ушел на аэродром и незаметно повредил маслопровод мотора у самолета Чанцева, с таким расчетом, чтобы мотор остановился во время перелета через Альпы и советские летчики разбились. Порыв Эца скоро прошел. Он начал раскаиваться в своем неправильном поступке. Он предлагает Чанцеву отложить полет, указывая на плохую погоду.

«— Нет, мотор надежный, — тускло ответил Чанцев.

Ему было неприятно, что посторонний высказывает такие очевидные предостережения, зная, что выбора нет. Он отошел к аэроплану.

— Готово, Сергей Петрович! — крикнул Елтышев.

Чанцев улыбнулся от легкого и ровного разбега. Он взял предельный угол и пошел ввысь. На повороте он в последний раз увидел внизу Эца. Немец стоял, по-прежнему подняв голову, губы его были почему-то полуоткрыты и рука приподнята, как будто он забыл сказать что-то».

Чанцев и Елтышев не разбились, им удалось сравнительно благополучно снизиться на горную вершину, но скоро они обнаружили, что попали в западню, в такое место, откуда без посторонней помощи не выбраться. Летчики должны были погибнуть.

Автор не возвращается больше к переживаниям Эца, заставляя читателя сделать это самому. Эц, подобно преступнику, возвращающемуся к месту убийства, летит путем советских летчиков и, увидев их, спасает. Чанцев и Елтышев одерживают моральную победу над своим врагом. Вот и весь рассказ. Три четверти его занимают авиационные приключения, благодаря чему, как принужден признать даже Родов, рассказ «читается легко». Социальное же значение рассказа не столько в изложенном сюжете, сколько в редком у нас изображении людей машины, так нужных нам, которые «ощущают грунт колесами самолета», сливаются с движением рулей и, постоянно рискуя жизнью, умеют побеждать.

Можно заметить, что для рабочего читателя это не совсем ясно. Но в том-то и заключается задача критика, чтобы помочь правильно понять произведение.

Чем же занимается Родов?

Для того, чтобы натолкнуть Чанцева и Эца на воспоминания о войне, автор приводит короткий и путанный разговор летчиков (за ресторанным столиком) на политические темы. Разговор этот занимает в рассказе полторы страницы из 38, но, по мнению Родова, в нем-то и заключается главная «соль». Из этой «соли» Родов делает выводы как по отношению к автору, так и по отношению к журналу — то, что нами приведено выше.

Все это достигается всего лишь тремя цитатами из названного разговора летчиков.

Цитата первая.

«Что касается коммунизма, если кому не нравится, то его, собственно говоря, не очень густо, и в общем жизнь разнообразная».

Тон этой фразы, поставленной эпиграфом в статье Родова, действительно останавливает, кажется насмешливым. Может ли так говорить советский летчик? Прежде всего — это неверно. Этой фразы Чанцев не говорил. Это автор, с явной иронией, излагает его речь («Чанцев заговорил пространно и путано, что ничего, мол, жить можно, живется и так, и так»... далее приведенная фраза).

И вот Родов из этого делает утверждения:

«Из советского строя, по мысли Чанцева, **“выветрен коммунизм”**», «Чанцев в 1927 году ставит вопрос о содержании советского государства во всю ширь(!) и по существу отрицает социалистический характер нашего строя». Мы полагаем, что критик сделать такие выводы не имел права, так как характеристика «коммунизма не очень густо» совершенно не означает, что коммунизм выветривается»; это явная клевета и не только на Чанцева.

Цитата номер два.

Пространные и путанные разговоры Чанцева быстро сменяются явной агитацией.

«— Есть и хорошее и плохое, — подводил итоги Чанцев... — но самое скверное, господин Эц, от России совершенно, я думаю, не зависит».

Далее выясняется, что «самое скверное» это — постоянная военная угроза мирному строительству СССР.

«— Ах, — сказал Чанцев тихо, и Эц вздрогнул. — Вырыть бы вдоль нашей границы колодища до того слоя, где земля теряет твердость, да так бахнуть, чтобы вы отъехали со всей вашей Европой в океан, в Америку. Вот бы зажили! Города наши плохи, а

земля пустая. Нам бы с этой землей воевать! И чтоб никто нам не мешал».

Но так как на деле придется защищаться отнюдь не фантастическим способом, то Чанцев, которого Родов выставляет идеологом новой буржуазии, говорит:

«— Да. Будем драться, если придется, беспощадно. Пусть увидит Европа, что и в технике мы не так уж отстали»... («Высокий Путь», стр. 244).

Далее Чанцев делает попытку встать на «европейскую» точку зрения и повлиять на Эца с этой стороны.

«... — Между нами, господин Эц... я думаю. Вот, если бы сошлись, например, ну, два писателя, что ли. Ну, не какие-нибудь, настоящие. Стали бы они палить друг в друга? Ведь не стали бы! Можно сказать, что мы, до некоторой степени, тоже люди искусства. Разве не правда? Да... нет, пора, знаете ли, пора!».

...«В лето 1927-ое, после разрыва Англии с нами, пацифистская философия звучит особенно странно», — глубокомысленно замечает по этому поводу Родов. — «Уж одно это ставит под сомнение рассказ Итина»... «основная идея которого, как ни верти, сводится к самому тепленькому, самому безобидному пацифизму».

Возможно, что для Родова звучит не менее странно и «пацифизм» советской делегации в Женеве, но нам очень хотелось бы, чтобы на Западе как можно чаще говорилось о таком «пацифизме». В отношении же рассказа В. Итина упрек в пацифизме вообще нелеп. В ответ Чанцеву Эц говорит, что будет «драться без всяких этих рассуждений», а коммунист Елтышев «вздыхает»: «Эх, нет у тебя настоящей классовой линии!» Правда, по Родову Елтышев только и делает, что «вздыхает», но это просто **ложь**. Елтышев говорит больше всех (кстати, речь Елтышева о том, как он научился летать, рассказ о «большевистской подготовке» был напечатан с пометкой: «отрывок из рассказа “Люди”» в той же «Советской Сибири», в качестве агитационного материала в дни разрыва с Англией).

Еще худший конфуз случился с третьей цитатой: оказалось, что она написана не Итиным, а попала в рассказ по ошибке. По этому поводу в предыдущем номере «Сибирских Огней» напечатано «Письмо в редакцию», и мы не будем повторяться. Но все же любопытно, что же зловердного можно вывести из самой обыкновенной фразы: «Дело у нас теперь на первом плане». Эту фразу говорит коммунист Елтышев, а не Чанцев. Эту фразу пов-

торяет у нас каждый день каждая коммунистическая ячейка. У Родова же из этой ленинской мысли получается черт знает что:

«По мысли Чанцева», — пишет Родов, — «ясно, что на первом месте у нас, будто бы, не развитие СССР, как базы международной революции, не социалистическое строительство, а «дело» — дело без всякого классового содержания. «Дело» — развязывание производительных сил, индустриализация, технический прогресс, рационализация производства и т. п., но вне всякой связи с социалистическим характером нашего строительства, вне угла зрения международной пролетарской революции».

Трудно даже поверить, что все это мог написать коммунист. Ведь получается, что «развертывание производительных сил, индустриализация, рационализация, технический прогресс» и т. п. в **советской** стране может, каким-то образом, оказаться «бесклассовым явлением», «делом без всякого классового содержания!». И все это выдается за самую ортодоксальную, марксистскую критику!

Следует также остановиться на экскурсе Родова из рассказа «Высокий Путь» в повесть «Каан-Кэрэдэ», который им сделан с целью доказать, что «крут идей» Чанцева, «сменовеховство», является идеологией и Андрея Бронева, который с крыла самолета кричит, отмахивая кулаками, обращаясь к рабочим и крестьянам Сибири:

«— Советская власть, разумеется, не может отпускать на воздушный флот столько же средств, сколько мировая буржуазия. Но, товарищи, мы им все-таки морду набьем! Раз у государства не хватает средств, значит — сами. С миру по нитке — новая стальная птица!..».

Андрей Бронева назван «бывшим белогвардейцем», но нигде в повести об этом не сказано ни слова. Приводятся слова Бронева о том, что «чеки у нас вроде как вовсе нет» («Высокий Путь», стр. 93). Пусть читатель посмотрит это место. Там слишком ясно, **как** эти слова сказаны. И за этими словами немедленно следует гневная реплика собеседника:

— Глупости!

Кстати, нам известен отзыв подлинных сменовеховцев о повести Вивиана Итина. Пражский журнал «Вольная Сибирь» находит, что «**повесть испорчена агиткой**». Контрреволюционные писания, как известно, часто являются довольно хорошим политическим барометром. Они травят все по-настоящему большевистское и восхищаются самой трескучей оппозиционной «ультралевой» фразой.

Не мешает вспомнить, откуда идет вся эта пышная родовская фразеология: невозможность «коммунистического дела»... «вне угла зрения международной пролетарской революции» (т. е., по-видимому, определенный уклон в вопросе о социализме в одной стране). С. Родов усиленно занимается поисками контрреволюции в каждой фразе советских «людей». Но мы знаем, что при первом же столкновении неуклюжая верность Броневых, Елтышевых, Чанцевых скажется ценным боевым свойством, а оппозиционная трескотня — оружием врагов.

Мы считаем действительно необходимым создание здоровой марксистской критики. Критика, основанная на трех фразах, из которых двух «герой» разбираемого произведения вовсе не говорил, а смысл третьей искажен, этому требованию не отвечает. Надо внести больше здорового в разбор произведений нашей еще молодой художественной литературы, без этих систематических выпадов против отдельных авторов и без таких вздорных оценок советской печати, какая была сделана С. Родовым по отношению к нашему журналу. Такие выпады не проходят бесследно. Они чрезвычайно вредят нашему коммунистическому влиянию в советской литературе.

Мы уверены, что с подобными методами критики мы больше не встретимся.

По поручению редакции «Сибирских Огней»

**М. Басов.
Г. Круссер.**

Л. Мартынов

**БЕЗУМНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ**

Вчера прочел предыдущие главы Владимиру Сякину. Он говорит, что все это интересно, живо написано, только надо по возможности проверить, документировать, хронологически уточнить. Легко сказать! Да и есть ли мне время зарываться в источники. Нет уж, положусь на память, хотя, конечно, трудно восстановить во всей последовательности события полувековой давности, например, тот день, когда ко мне явился Вивиан Итин. Зато я прекрасно помню, почему он явился ко мне и что сказал.

Дело в том, что в году двадцать первом, футуристуя и хулиганствуя, я все же не мог висеть на шее родителей и старался заработать хоть сколько-нибудь таким способом, какой мне был доступен. Я сотрудничал, например, в железнодорожной газете «Сигнал», которую редактировал отец Александра Павловича Оленича-Гнененко Пал Палыч. Эта газета помещалась в одной из пятисот или шестисот комнат здания Сибопс — Сибирского округа путей сообщения, и я ходил из этой комнаты в другую, где собирал ту или иную ведомственную информацию и приносил ее в редакцию. Выезжал, конечно, и на узел, в депо, на товарную станцию и раздобывал кое-какой материал. Но вскоре Пал Палыч, большой чудака и сам поэт-неудачник, разочаровался в журналистике и потребовал от своего сына Александра, тогда председателя Губисполкома, назначения в начальники уголовного розыска, что и было исполнено. Пал Палыч принялся за борьбу с преступностью, местные жулики не особенно его боялись и даже однажды заманили его вместе с лошастью в какую-то волчью яму, но, что бы ни творил Пал Палыч, я остался без работы и перешел из железнодорожной газеты в газету водническую, где под псевдонимом Александр Гинч публиковал стихи и малосенькие очерки из быта пристаней и затонов. Редактором там был милый человек Смородинников, большой любитель иртышской экзотики и романтики. Помню, с каким счастливым хохотом протянул он мне однажды для обработки письмо какого-то шкипера с Норзайсана, с Черного Иртыша, то есть с китайской границы. Там было написано каракулями, что некий капитан получает заграничный табак

без акциза и надо с него взять за акциз. Но и эта газетка вроде как скоро закрылась или сменился редактор, я не помню, помню только, что я перешел на критику и библиографию для «Рабочего Пути», беря книги на просмотр из магазина Сибкрайиздата. И кажется, директор этого магазина, книголюб макушинской томской выучки Никонов, и показал мне однажды замечательную книжку, отпечатанную на оберточной бумаге в обложке из бумаги синей и твердой, той, в которую упаковывались до революции сахарные головы. Эта книжка, фантастическая повесть о полете героя из колчаковской тюрьмы в иные миры, называлась «Страна Гонгури». «А может быть наш несовершенный грешный мир лишь атом, лишь клеточка мозга какого-нибудь трагического, в духе Достоевского, космического мыслителя», — спрашивал устами героя автор этой, изданной в глухом городе Канске, книжки, Вивиан Итин.

— Я его знаю, — сказал Никонов. — Мы его в Красноярске женили. Он юрист по образованию и работает, кажется, по линии Наркомюста.

Но Вивиан Итин работал уж не по линии Наркомюста, а по литературной линии, в Новониколаевске, создавая вместе с Зазубриным и Басовым журнал «Сибирские огни». И прослышав, то ли от Никонова, то ли от Кондратия Урманова, уехавшего тоже тогда в Новониколаевск, что есть на свете я, который пишет стихи и расхваливает его книгу, Итин, однажды приехав в Омск, явился ко мне.

Он был старше меня лет на десять. Под дубленным сибирским полушубком он носил приличный, вполне европейский, костюм. Был медлителен и застенчив. Молча выпил чашку чая, предложенную мамой, вежливо поблагодарил, а мне сказал:

— Я знаю, что тебе понравилась «Страна Гонгури». Читал твои стихи в «Искусстве». Мне нравится. Покажи, что пишешь.

У меня к тому времени было уже немало. В том числе лирические стихи, напечатанные только четверть века позже, и баллада «Золотой легион» о том, как чешские легио-

неры, обманувшие и оставившие своих сибирских жен, были наказаны настигнувшей их в Тихом океане ледяною горой, айсбергом, потопившим их пароход, — стихотворение, не напечатанное до сих пор, потому что потеряно... Вивиан отобрал несколько стихотворений, в том числе «Провинциальный бульвар».

И уехал.

Через некоторое время он прислал мне письмо о том, что «Провинциальный бульвар» идет в «Сибирских огнях». Еще через некоторое время прислал этот номер журнала, в котором я не нашел стихотворения, хотя в оглавлении оно было и обозначено. И почти одновременно пришло письмо Итина, повествующее о том, что член редакционной коллегии Феоктист Березовский забил в набат и добился изъятия моих стихов из значительной части тиража, но в оглавлении мое имя и название стихотворения осталось всюду.

— Я знаю этого Феоктиста Березовского, — сказал мне Антон Сорокин. — Вреднейшая бездарь, он мне много испортил в свое время.

— Я отомщу ему! — сказал я. И послал в адрес «Сибирских огней» письмо или телеграмму, скорей всего, письмо, потому что такую телеграмму едва ли бы приняли — «Фита вы этакая!». Напоминаю, что имя Феоктист по старой орфографии писалось через фиту.

Вскоре пришло письмо не от Березовского, а от Вивиана Итина. Оно было коротко: «Недоразумения улажены, приезжай как можно скорей, привези стихи».

И я поехал.

Помню, приехал я рано утром, часов в шесть. Идти будить Вивиана в такую рань я постеснялся и пошел по главной улице Новониколаевска Красному проспекту, представлявшему собой хилый бульвар, обсаженный по обе его стороны невысокими кирпичными, а то и деревянными домами. И, сев на скамейку этого бульвара и оглядевшись, поглядев на редкие афишные тумбы и на дремлющих кое-где извозчиков, я понял, что этот самый провинциальный бульвар со всеми его атрибутами я и описал в стихотворении, вырезанном из «Сибирских огней». Не зная его еще, не

имея конкретного представления о нем именно — в Омске таких бульваров не было, — я как бы предвидел его, попал прямо в точку, вот поэтому-то мое стихотворение и не понравилось Березовскому.

Вот с чем я и появился часов в восемь утра к Вивиану. Он, бреясь перед маленьким зеркалом, выслушал мой рассказ и сказал:

— Ладно. Сейчас Груша, моя жена, даст нам позавтракать, а потом пойдем в редакцию, познакомишься с Зазубриным и остальными. А послание твое Березовскому я перехватил. Ну его к черту!

Так началось мое знакомство с Новониколаевском, будущим Новосибирском, в лице бородатого ироничного Зазубрина, розовощекого Басова, сократо-верленовского Вегмана с серебряной трубкой под бородой в горле, следом попытки самоубийства еще в царской тюрьме. Были тут и старые мои знакомые по Омску — Александр Павлович Оленич-Гнененко и Георгий Вяткин; уже шмыгал репортером «Советской Сибири» Сережка Марков, словом, оказалась масса старых и новых знакомых и друзей. Я быстро договорился о сотрудничестве в журнале и газете, из Новониколаевска я ездил впоследствии в интереснейшие командировки в Томск, в тайгу, в урман, на Алтай — на рудники Риддера, в Казахстан — на строительство Турксиба, на Балхаш — все эти поездки я делал из Новониколаевска, Новосибирска. Но, тем не менее, я не прижился в этом городе и, как меня ни соблазняли, не переехал в него, предпочитая жить сначала в Омске, а потом все чаще и чаще навещаясь в Москву, чтоб стать фактически москвичом еще с конца двадцатых годов. А в Новосибирске с самого начала я не чувствовал себя как дома, и теперь я, пожалуй, понимаю — почему это было так. То есть я ничего не имел против этого молодого многообещающего города, сибирского Чикаго, как его называли газетчики, и даже написал о нем очерк для журнала «Наши достижения». Однако. Но, во-первых, я понимал, что Новосибирск ничем не был похож и не будет похож на Чикаго, потому что все это глупость, он не может походить на него, а во-вторых, и в главных,

дело было вовсе не в самом даже городе и не в его населении в целом, а суть заключалась в тех людях, с которыми я был близок. Все они играли в городе большую роль, все они были значительными и интересными людьми, в большинстве своем хорошими и, как говорится, добрыми, но жизнь их показалась мне таким хитросплетением противоречий, впутываться в которые я никак не хотел. Объединители литературно-художественных сил Зауралья, начинатели «Сибирских огней» Зазубрин и Итин часто препирались между собой, в то же время дружно клялись своей «сибирскостью», но они по существу были глубоко чужды и сибирякам вроде простоватого Кондратия Урманова или хитроватого Коптелова, либо хитровато-простоватого Мухачева, и наезжеству партийному руководству. Они были загадочны и для тех, и для других своей высокой культурностью, своей талантливостью, часто не укладывающейся в местные культурно-просветительные и административные рамки. В свою очередь более чем в стороне от «сибогневцев» держался редактор «Советской Сибири» Шацкий, сам по себе прекрасный человек, талантливый журналист, о котором я надеюсь рассказать особо. Нечего и говорить, что впоследствии все они вошли в резкое противоречие с левяком Курсом, но, в силу ряда обстоятельств, должны были составить одну редколлегию журнала «Настоящее». И Сережа Марков написал очень верную эпиграмму, в которой говорилось:

Редактор: Басов и Зазубрин,
А Курс и Шацкий... Не беда!

Беда это была или не беда, но еще задолго до известной истории с журналом «Настоящее» я понял, что мне, свободному художнику, не ужиться в этой атмосфере не только споров, сколько склок, и объявил Итину, что стать новосибирцем я не желаю, а предпочитаю бывать там только наездом. И эта независимость, пожалуй, и помогла мне и сохранить дружбу с Зазубриным, и напечатать у Шацкого стихи «Безумный корреспондент», где я говорил о том же

самом, о независимости, и уберечься в дальнейшем от многих неприятностей.

Но это все скучные, с оговоркой, слова о литературе, вернее, о литературной политике, в которой я не очень-то и разбирался, а она просто мне претила.

На деле было так.

Вот я приезжаю в очередной раз в Новосибирск и подхожу к деревянному дому, где обитал Вивиан. Вхожу во двор, стучусь, а летом, если окно открыто, то прямо в окно. Приезжал как-то больше ночью, когда Вивиан обычно работал, Вивиан что-то мычит, я, чтоб не мешать ему, ложусь на медвежью шкуру в углу. Вивиан все же идет, приносит мне подушку, простыню, одеяло. Мы с ним объяснились однажды раз и навсегда. «Почему ты не останавливаешься в гостинице, Ленька?» — спросил он. — «Потому, что я предпочитаю твое общество гостиничным стенам и девкам», — ответил я. Вопрос был исчерпан. Итак, если это ночью, я ложусь и засыпаю. Впрочем, Вивиан иногда меня будит и предупреждает сразу: «Погоди, я тебе кое-что почитаю».

Утром, вернее днем (потому что после ночных бдений Вивиан спал долго и даже таким образом избавился от должности цензора: назначили и потом уволили, потому что приходил на службу не вовремя), мы идем в редакцию «Сибирских огней», где я показываю что привез или сговариваюсь о новых поездках. Вивиану со мной весело. В редакции его, в общем, недолюбливают. Сонный принц! Но он осуществляет большое дело, он не только заведует стихами, но держит связь с научными учреждениями, с Сибпланом, с Комитетом Северного Морского Пути. Он тянет журнал с неменьшим упорством, чем Заzubрин.

Однажды, помню, в году 1927-м, Вивиан сказал мне, что следует съездить в Ленинград. Я охотно согласился, сказав, что там у меня найдется два дела: искупаться в Неве и попытаться поступить в Университет на географический факультет к Тану-Богоразу. Эта мысль у меня возникла внезапно. «Дурак! — сказал Вивиан. — Кто же тебя примет. Ведь у тебя нет среднего образования. Впрочем, попробуй!»

И мы поехали. В Ленинграде я поселился на Миллионной у Сейфуллиной. Там было беспорядочно. Правдухин почему-то невзлюбил меня, обвинял, что я утащил у него какие-то газеты, но я не обращал на него внимания.

Вивиан повел меня в «Вечернюю Красную газету» к Чагину, где я познакомился еще с веселыми людьми Кутелем и Маком. Увидел там живого Потапенко, известного мне по старым комплектам «Нивы». Чагин напечатал в «Красной Вечерке» несколько моих корреспонденций, Тихонов взял для «Звезды» «Безумного корреспондента». Тан-Богораз не принял меня в университет, выслушав мои стихи, он сказал, что могу заниматься и самообразованием, впрочем, наш разговор с Таном я подробно пересказал в стихах. У Вивиана в Ленинграде выходила книжка «Высокий путь», к нему все относились очень хорошо, он показал мне Ленинград, вспоминая годы студенчества, и, помню, я, охваченный внезапно каким-то сомнением, сказал Вивиану:

— Слушай. У тебя выходит здесь книга. Все так хорошо к тебе относятся. Почему бы тебе не перебраться сюда?

Вивиан посмотрел на меня странно и сказал:

— Ты думаешь, что здесь будет чем-нибудь лучше?

После я не однажды вспоминал этот наш бессвязный разговор, который в рассуждении тридцать седьмого года, пожалуй, был более связан, чем нам казалось самим.

Вивиан, уфимец родом, мне кажется, что в его смуглости и было что-то башкирское, — сын, кажется, адвоката, студенческие годы провел в Петербурге. В Петрограде же он, собственно, и начал свой литературный путь. «Открытие Риэля» — первый вариант «Страны Гонгури» — взял у него еще в «Летопись» Горький. А потом революционным циклоном Вивиан был занесен в Сибирь. И там, в Сибири, помогла Вивиану занять и долго удерживать руководящую высоту, я думаю, поддержка Горького, как Заzubрину поддержка Ленина, одобрительно отозвавшегося о «Двух мирах».

Мне кажется, что Вивиан не хотел перебираться в Ленинград не только потому, что не хотел оказаться вторым в Риме, при наличии многих первых, но потому, что его действительно увлекала деятельность в «Сибирских огнях»,

тесная связь с моряками Комсеперпути, путешествия в Арктику, возможность написать неповторимые книги об этом, что он и сделал.

Как бы то ни было, он не перебрался в Ленинград. Я помню, как мы в тот раз расстались в Москве — я остался там, он вернулся в Новосибирск. И когда я осенью снова появился в Новосибирске, я убедился, что к Вивиану относятся там еще холоднее, и Новосибирск показался мне еще неуютнее. Но тут я не могу сказать ничего связного. У памяти есть хорошее свойство: она изменяет в тех случаях, когда воспоминания неприятны. Даже не активно неприятны, о, нет, тогда память наоборот их хранит и даже скорбно лелеет и пестует, а так, когда они нудны, склочны. И я, право, не знаю, как случилось, что Зазубрин все-таки покинул «Сибирские огни» и уехал к Горькому редактировать «Колхозник», а Итин так-таки и остался в Новосибирске, и не помню не только подробностей, но и сути разных печальных склок, всевозможных постановлений о работе «Сибирских огней» и разных организационных выводов, и не припомню, почему Вивиан писал что-то нехорошее о Сереже Маркове. Все это ушло из поля моего внимания, во второй половине двадцатых годов я предпочитал не появляться часто в Новосибирске, а делил свои дни между Омском и Москвой, отдавая предпочтение Москве, вернее, тогдашнему Кунцеву, где, бежавший из Сибири, Сергей Марков поселился в Почтово-Голубином тупике квартирантом у старика со старушкой.

Но речь в этой главе идет все-таки о Новосибирске, то есть о Вивиане, человеке, сыгравшем большую роль в моей жизни. Как-никак, а нас объединяли многие творческие и, я бы сказал, политические, государственные интересы. Как-никак, он печатал в «Сибирских огнях» мои очерки о строительстве совхозов Зернотреста, и о строительстве Турксиба, и о рудниках Риддера, и о быте сибирских земледельческих коммун, и борьбе (моей) за раскрепощение казахских женщин, словом, все то, что вошло в книгу «Грубый корм», выпущенную в 1930 году издательством «Федерация». Как-никак, а именно в Вивиане я находил терпеливого слуша-

теля моих рассказов о подземных морях Сибири и Казахстана, — проблема, за которую более или менее реально взялись только теперь, через 40 лет. Только с Вивианом я мог толково поговорить о гипотезе Вегенера насчет плаву-чести материков. И о солнечных пятнах, и об их влиянии на климат, на психику. Эта тема была вообще в те времена почти запретная — влияние отрицалось, как, впрочем, некоторыми и позже. И, наконец, не кто иной, как Вивиан, печатал, преодолевая все препятствия, мои стихи и поэмы. Так, даже в 1932-м году он напечатал-таки моего «Патрика», присланного в Новосибирск из Вологды, а в 1936-м году напечатал «Увенькая» и немного позже «Тобольского летописца», которые и послужили началом моей настоящей, широкой литературной известности.

Я помню одну из наших последних встреч с Вивианом, чуть ли не самую последнюю. Это было в Омске. Я помню Центральный базар, охваченный ветренным мраком среди белого дня под пламенеющим небом. Шарахались лошади, и ревели верблюды. Вокруг нас с Вивианом шумела, забывшая о рыночных делах, толпа. Это был час солнечного затмения в день смерти Максима Горького. Вивиан зачем-то приехал в этот день в Омск, где мы с Ниночкой тогда были...

...И помню еще, кажется, в начале 1938 года, однажды, проснувшись в закутке, где мы обитали, я сказал Ниночке:

— Скверно, видел во сне Вивиана. То есть даже не Вивиана, а Груню его, жену, будто она пришла в комнату Вивиана и снимает со стен картины, с окон занавески.

Через неделю кто-то, приехавший из Новосибирска, рассказал мне, что Вивиана постигла та же участь, какая и многих.

Мой сон не был вещим сном, но сном, приснившимся в результате строго логических рассуждений...

В 1939 году ко мне пришла литературная известность. В сороковом, три или четыре года отвергавшаяся Гослитиздатом, вышла в издательстве «Советский писатель» книга моих поэм. Все пошло своим чередом. Новосибирск окончательно мне постыл после исчезновения Вивиана, я по-

бывал в нем только раз во время войны, да и то не столько в качестве писателя, сколько в качестве солдата. И меня не тянет в Новосибирск. Я сержусь на них, на новосибирцев, по ряду причин, хотя бы, например, потому, что в 1948 году они сделали из меня жупела, проявив на мне свою «бдительность» и объявив мое стихотворение «Наяды» (о необходимости заботиться о малых реках Сибири) — политически неверным и формалистическим. И долго потом еще, чуть ли не целых пять лет подряд, повторяли это обвинение, пока не пришло время хвалить в печати и эти стихи. Но самая моя большая обида на новосибирцев — это их невнимание к литературному наследству Вивиана Итина, нежелание их переиздать все, что он написал и напечатал, то есть не только его стихи, но и «Страну Гонгури», и повесть «Высокий путь» из жизни сибирских осоавиахимовцев 20-х годов, и очерки о деятельности моряков Комсерпути, и критические его статьи о поэтах-сибиряках.

Его дочь Лариса, превратившаяся из маленькой девочки в почтенного минского профессора биологии, бывает у нас на Ломоносовском проспекте не только потому, что близости на Ленинском проспекте, напротив «Синтетики», наискосок «Изотопов», живут какие-то ее родственники. Она бывает у нас потому, что рассказывает, насколько тщетны ее попытки издать сочинения ее отца. То, что от издания пока что отказывается «Советский писатель», — более или менее понятно: много своих первоочередных. Но что Новосибирское издательство не издало полного собрания сочинений Вивиана Итина, так много сделавшего для Сибири, это — стыд и срам.

Впрочем, что-то из неизданного должно оставаться и для будущих поколений. И не это, так другое поколение норильцев прочтет, я думаю, не без интереса, такие, например, стихи:

Нансен. Норвежцы. Норильские горы.
Берег волнами холодными вспенен.
Мы не разбойники конквистадоры,
Мы моряки с ледокола «Ленин».

— Это, — скажет какой-нибудь будущий читатель нори-
лец, или таймырец, — написал поэт, который погиб когда-
то где-то тут поблизости.

Сердце стучало. Моторы работали,
Ветер наваливался, как медведь...
Снова, как в дни Себастьяна Кабота,
Можно воскреснуть и умереть.

Л. Итина

**ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ И
ПУТЕШЕСТВЕННИК**

В 1922 году в сибирском городе Канске вышла в свет первая советская научно-фантастическая повесть «Страна Гонгури». Ее автор, Вивиан Итин, популярный в 30-е годы литератор, писавший в разных жанрах (стихи, повести, пьесы, журнальные очерки), погиб в годы сталинских репрессий.

Вивиан Азарьевич Итин родился 26 декабря 1893 года (по старому стилю) в старинном русском городе Уфа (Южный Урал). Некоторые сведения о его предках по материнской линии мне посчастливилось узнать из письма сотрудника Уфимского краеведческого музея Г. Ф. Гудкова. В начале 19-го века в Уфе появились два брата Коротковы: Игнатий Венедиктович (родился в 1813 году) и Никифор Венедиктович (родился в 1822 году).

Братья были вольноотпущенниками (бывшими крепостными) госпожи Алферьевой. За какие заслуги получили они вольную, где родились — остается загадкой. Известно лишь, что госпожа Алферьева не проживала в Уфимской губернии. Игнатий Венедиктович Коротков был приписан к уфимскому купечеству. Старинная эта история интересна тем, что бабушка писателя Н. С. Лескова — А. В. Алферьева (1790-1860). Жила она, как известно, в Орловской губернии. Возможно, освобождение предков В. А. Итина связано с сюжетом «Очарованного странника» Н. С. Лескова и слова князя из этого произведения: «...дом им куплю и Ивана в купцы запишу...» — взяты автором из реальной жизни.

Дед отца и старший сын Игнатия Венедиктовича — Иван Игнатьевич Коротков (родился в 1838 году) — был купцом второй гильдии, гласным уфимской городской думы, имел три дома. К сожалению, он любил выпить и к концу жизни промотал все свое состояние. Внешне Иван Игнатьевич был «настоящий русский богатырь»*, а жена его, Татьяна Андреевна — брюнетка небольшого роста с большими, даже в

* По воспоминаниям Н. Л. Чернышевой, которая жила в Уфе с бабушкой З. И. Итиной и видела портрет нашего прадеда.

старости, глазами и правильными чертами лица. У них было две дочери (Алевтина и Зинаида) и сын Иннокентий, который стал инженером путей сообщения и работал начальником станции Зима (в Сибири).

Зинаида Ивановна Короткова (1875-1942), мать отца, была отдана за Азария Александровича Итина (1859-1926). А. А. Итин был известным в Уфе адвокатом, имел печатные труды, перед революцией получил дворянское звание. С появлением в Уфе красных попал в тюрьму. Только благодаря усилиям жены его освободили почти умирающим.

В семье Итиных было четверо детей: Валерий (1892-1942), Фаина (1893-1968), Вивиан (1894-1938) и Нина (1902-1998). Зинаида Ивановна была красивой и талантливой женщиной, все дети ее очень любили. Она играла в уфимском любительском театре (постоянного театра в Уфе не было). В Москве, у ее внучки, Нины Львовны Чернышовой, хранится портрет Зинаиды Ивановны работы художника Льва Николаевича Петухова — мужа Фаины.

Валерий Азарьевич Итин был хирургом и погиб на судне «Сванетия», которое перевозило раненых и было потоплено немцами на пути из Севастополя в Сочи 17. 4. 1942 года. Валерий Азарьевич отдал свой спасательный пояс молоденькой медицинской сестре, а сам погиб с ранеными. Оба его сына (Игорь и Святослав) также погибли во время Отечественной войны. Игорь был переводчиком с немецкого и пропал без вести. Святослав вернулся с фронта в Сталинград, где они жили до войны, женился, родилась дочка. Погиб от случайной пули пьяного матроса.

Фаина Азарьевна училась в Петербурге на Бестужевских курсах, но затем вернулась в Уфу и была с матерью.

Младшая сестра отца, Нина Азарьевна Итина, окончила биологический факультет Московского университета. Доктор биологических наук, многолетняя сотрудница академика Л. А. Орбели. Пережила Ленинградскую блокаду. После 80 лет писала стихи.

Вся семья Итиных в Уфе жила в деревянном доме с мезонином и садом, который сохранился до сих пор (ул. Свердлова, 63). В нем прошли детские годы отца. В возрасте 8

лет Вивиан заболел корью. В это время в доме случился небольшой пожар. Из-за всеобщего переполоха и сквозняков мальчик простудился, и корь осложнилась костным туберкулезом. Мать возила Вивиана в Казань, где в то время были хорошие врачи и клиники. Вивиану в двух местах удалили пораженные кусочки кости, в том числе — над глазом. Затем он длительное время жил в Алушке, в частном детском санатории врача Изоргина. Болезнь практически вылечили. Мать часто жила с Вивианом в Алушке. Только последние классы реального училища отец заканчивал в Уфе.

Все эти события несомненно отразились на формировании его личности — жизнь ребенка, прикованного к постели, море, красота парка Алушки, ласковая мама. Может быть, его мечтательность возникла и раньше: «...Сначала это пришло во время далекого детства, когда я лежал с книжкой под головой в зеленой тени и стрекозы пели в небесной сини» — писал Вивиан Азарьевич в «Стране Гонгури». Эти ощущения отражены и в стихах:

...Я был искателем чудес
Невероятных и прекрасных...

Для получения высшего образования Вивиан едет в Петербург. Год слушает лекции в Психоневрологическом институте, возглавляемом В. М. Бехтеревым, основоположником русской экспериментальной психологии и знаменитым неврологом. Фрагменты знаний работы мозга и физиологических механизмов сна и гипноза пригодятся впоследствии при написании повести «Открытие Риэля».

Через год, в 1913 году, Вивиан поступает на юридический факультет Петроградского университета.

Студентом Вивиан увлекся литературой и стал писать стихи. Даже написал повесть «Открытие Риэля», которую читал на заседаниях студенческого литературного кружка в 1915-1916 годах. Повесть студентам нравилась, Вивиан подготовил ее для печати.

В 1917 году Лариса Рейснер — дочь Михаила Андреевича Рейснера (правовед проф. М. А. Рейснер читал лекции как в Психоневрологическом институте, так и в Петроградском университете; семью Рейснеров прекрасно описал Владимир Леонидович Андреев в книге «Детство» (М., 1966), впоследствии известная писательница, отнесла рукопись в редакцию журнала «Летопись», который редактировал А. М. Горький. Алексей Максимович повесть одобрил, принял в печать и пожелал встретиться с автором. Подробнее эти события отражены в статье отца «Две встречи с Максимом Горьким» (Сиб. огни, 1932, 11-12; Литературное наследство Сибири, 1969, т.10; сб. «Страна Гонгури», Новосибирск, 1983). Однако время было такое, что «Летопись» закрыли, а рукопись пропала.

Вивиан, как и М. А. Рейснер, стали сотрудниками наркомата юстиции и вместе с правительством в 1918 году переехали в Москву. В архиве Л. М. Рейснер сохранилось письмо Вивиана, написанное 16 апреля 1918 года из Москвы и живо передающее умонастроение автора в то время.

«Милая Лери!

Я не помню, когда мы виделись в последний раз. У Вас были очень далекие глаза и почему-то печальные, и это казалось мне странным, так как юноши не верят Шопенгауэру, что счастья не бывает. Сегодня Екатерина Александровна сказала мне, что Вы больны, опасно больны, и волны ее беспокойства передались мне и не утихают, как волны неаполитанской баркароллы в моем сознании и в Вашем. Екатерина Александровна сама такая бледная, такая озабоченная сновидениями жизни или тем, что они по необходимости преходящи, что стала совсем пассивной и утомленной, словно мир навсегда замкнулся красным раздражающим коридором грязноватого оте-*

* Екатерина Александровна Рейснер (урожденная Хитрово) — мать Ларисы Рейснер.

ля. Я спокоен, моя воля пламенеет более чем когда-либо, потому что я мало думаю о настоящей жизни, но я не знаю, как мне передать мое настроение. Будем выше... Ах, еще выше!

В Комиссариате всякие дразги. В той Австралии, о которой мы так недавно мечтали, есть какие-то удивительные муравьи. Если разрезать насекомое на две части, то обе половинки начинают яростно сражаться друг с другом; так повторяется каждый раз, в течение получаса. Потом наступает смерть. Весь мир походит сейчас на такого муравья. Я страдаю только от одного.

Где бы мне найти друзей, воодушевленных, одиноких или хотя бы только жадных, презирающих гнусное равенство. Что теперь говорят про людей? Комиссар, большевик, контрреволюционер. Это все пусто».

Летом 1918 года Вивиан едет в Уфу, повидаться с родителями. Из-за захвата Уфы 5 июля 1918 года частями Чехословацкого корпуса он не смог вернуться в Москву. Работать поступил в американскую миссию, которая через Сибирь и Японию направлялась в США. Об этом периоде жизни В. А. Итина известно мало. В главе неоконченного романа «Ананасы под березой» (Сибирские огни, 1933, № 1-2) отражена картина продвижения миссии по Сибири. Возможно, это единственное печатное свидетельство о жизни миссии в конце ее пути.

«Они поступили переводчиками к группе секретарей YMCA*, отправлявшихся в своей новенькой форме американских офицеров в Северную Азию, — читаем мы в “Стране Гонгури”. — Они ехали проповедовать идеи креста и красного треугольника с помощью какао, сигареток и молитвенников. В сущности, это были славные ребята, обыкновенные путешественники от нечего делать, воспользовавшиеся богатым христианским союзом для своих целей. Все их христианство сводилось, по традиции, к совместным мо-

* YMCA — Young Men's Christian Association.

литвам по воскресеньям, во время которых они зевали, рассказывали анекдоты и курили манильские сигары. Когда янки были достаточно близко от границ, занятых войсками Республики Советов, переводчики покинули их без предупреждения.

Они торопились, но огненная завеса уже разделяла Сибирь от России. Тогда Гелий первый бросился в хаос первоначальной власти. Случайность: полтора года юридического факультета сделали его членом революционного трибунала. Очень скоро стало безнадежно ясно, что борьба в Сибири против экспедиционных войск всего света и предателей всех сортов немыслима. Коммунистические отряды были разбиты и уходили в тайгу. С одним из них ушел Гелий».

В статье «Первый советский фантаст» В. Самсонов пишет о В. А. Итине: «В составе легендарной Пятой армии он идет с боями через всю Сибирь» («Страна Гонгури», Красноярск, 1985 г.). Так или иначе, но ужасы гражданской войны он пережил:

И не понять не знавшим нашей боли,
Что значит мысль, возникшая на миг:
Ведь это я стою с винтовкой в поле,
Ведь это мой средь вьюги бьется крик!

*

О если бы не ряд потерянных
Друзей, встающий предо мной,
И длинный перечень расстрелянных,
Я б мог поверить в мир иной!

В 1920 г. В. А. Итин заведовал отделом юстиции в Красноярске, вступил в партию, женился на Агрипине Ивановне Чириковой, моей матери. Ее родители — из Владимирской губернии, мать (Мария Ивановна Терсина) жила в селе Сарыево, отец (Иван Григорьевич Чириков) — в Мстере. После женитьбы семья матери поселилась в Сарыево, а в 1896 году, к тому времени уже с тремя детьми Федором, Татьяной и Агрипиной переехала в Красноярск.

В. А. Итин начал свою литературную деятельность в газете «Красноярский рабочий», где редактировал «Бюллетень распоряжений» и литературный уголок «Цветы в тайге». Там же он напечатал свои первые стихи.

В 1922 году В. А. Итин активно печатается в «Сибирских огнях» — литературно-художественном журнале, выходившем в свет в Новониколаевске (старое название Новосибирска). В этом году опубликована пьеса «Власть», много стихотворений и рецензий, в том числе рецензия на стихи Н. С. Гумилева: «Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России остается глубокой трагедией».

По партийной линии В. А. Итин был переведен на работу в город Канск. В Канске, в исполкоме, отец был единственным человеком с высшим образованием, поэтому его обязанности были разнообразны: он был завагитпропом, завполитпросветом, завуроста, редактором газеты и председателем товарищеского дисциплинарного суда.

В Канск ему переслали рукопись «Открытие Риэля», которая сохранилась «чудесным образом». «Я выкинул благородного пастора и блоковскую девушку, — писал Вивиан Азарьевич, — поместил героев в более подходящее место, и напечатал на бумаге, принадлежащей газете “Канский крестьянин”, книжку под названием “Страна Гонгури” (Канск, 1922). В послесловии к красноярскому изданию (1985) В. Самсонов приводит беседы с людьми, знавшими В. А. Итина в годы его работы в Канске. Очевидцы описывают крайнюю бытовую неустроенность Вивиана Азарьевича. «Страну Гонгури» он писал в кинотеатре после сеансов при свете коптилки.

Я живу в кинотеатре
С пышным именем «Фурор».
Сплю, накрывшись старой картой,
С дыркой у Кавказских гор.

Одежда его была в таком состоянии, что товарищам пришлось добывать ему обмундирование из брошенного бело-

гвардейцами. И. П. Востриков характеризует отца, как прекрасного оратора и очень скромного человека. Г. Г. Романов заседал с Вивияном Азарьевичем в товарищеском суде. Охраняя людей от скоропалительных приговоров, отец повторял: «Мы с вами должны подходить к делу по законам сердца».

Первое издание «Страны Гонгури» сохранилось в некоторых крупных библиотеках: в Российской государственной библиотеке (Москва), Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург) и библиотеке Томского университета. Личный архив отца, в котором могла находиться первоначальная рукопись, был конфискован и уничтожен НКВД.

Критика на первое появление в свет «Страны Гонгури» была неблагоприятной. Тем не менее, впоследствии «Открытие Риэля» («Страна Гонгури») переиздавалась много раз, как при жизни отца (Сибирские огни, 1927, №1; Сб. «Высокий путь», Москва-Ленинград, 1927), так и после его гибели и реабилитации. «Открытие Риэля» (по варианту московского издания 1927 года) была издана в Германии (Берлин, 1980, 1981 и Гамбург, 1987, 1988), затем в Новосибирске (1983), Красноярске (1985) и в Канске (1994) по канскому варианту (1922) с названием «Страна Гонгури». В издание 1927 года автор внес ряд любопытных добавлений и исправлений, которые не понравились А. М. Горькому.

«Открытие Риэля», — писал отцу А. М. Горький о московском издании 1927 года, — было издано под титулом «Страна Гонгури» в Канске, в 1922 году. Об этом Вам следовало упомянуть. Сделанные Вами исправления не очень украсили эту вещь. Однако, мне кажется, что Вы, пожалуй, смогли бы хорошо писать «фантастические» рассказы. Наша фантастическая действительность этого и требует. Всего доброго. А. Пешков».

Герой повести Гелий заключен в тюрьму вместе со своим другом, старым врачом. Гелий приговорен к расстрелу. Он рассказывает врачу о необыкновенной стране Гонгури, о которой он мечтал с детских лет. Врач решает погрузить Гелия в гипнотический сон, дать ему последнюю

возможность побывать в стране своей мечты и забыть предсмертные страдания.

В гипнотических грезах Гелий путешествует по Стране Гонгури под именем Риэль. Страна находится на неизвестной планете вне Солнечной системы. На этой планете одновременно существуют два общества. Одно организовано по типу коммуны. Все достижения великих умов принадлежат народу. Памятники ставят не людям, а выдающимся событиям. В другом обществе главное — это личность. Памятники ставят людям. Риэль, родившись в первом обществе, предпочитает жить и творить во втором.

Страна Гонгури — это мечта о будущем цивилизованном обществе, где техника так совершенна, энергия так избыточна, что основные интересы людей находятся вне материальных забот. Главное — это наука, искусство. Люди уже открыли антигравитационное вещество и поэтому передвигаются, паря в воздухе, а межпланетные путешествия — повседневная реальность. Риэль — молодой и талантливый — полюбил прекрасную девушку Гонгури, очень серьезную, уже признанную поэтессу, отмеченную знаком членов Ороэ — Рубиновым сердцем. Ороэ — это организация выдающихся людей города (одновременно, академия наук и клуб людей искусства). Высшая цель Ороэ — стремление к познанию Истины. Это могущественная организация. Весь народ обязан осуществлять замыслы членов Ороэ. У Ороэ — свои традиции. Одна из девушек отдала свое сердце ради научных исследований и погибла. С тех пор знак Рубинового сердца стал наградой, выдаваемой избранным.

Риэль усиленно работает, чтобы заслужить Рубиновое сердце и сравняться с Гонгури. В процессе работы научная страсть вытесняет его любовь к девушке. Риэль совершает одно открытие за другим. Он член Ороэ и очень популярен. Но Риэль не удовлетворен. Он создает машину, которая позволяет видеть строение материи. В его представлении, Вселенная и атом построены по единому плану. Рассматривая под огромным увеличением Голубой Шар, когда-то созданный на основе мозга одного из выдающихся

ученых страны, он в одной из сложных молекул находит солнечную систему и одну из планет — Землю.

Риэль видит картины жизни на Земле. Варварство, войны, бесчеловечность этих картин непереносимы для цивилизованного человека. Кроме того, он представляет, что другой великий Риэль своим всевидящим глазом с другой планеты рассматривает его.

К Риэлю приходят друзья. Он хочет показать им все, что он видел. В этот момент появляется старый ученый и поэт, который уничтожает Голубой Шар. По каким-то соображениям он не хочет, чтобы другие люди увидели известное Риэлю. В состоянии крайнего утомления и пережитых страшных видений Риэль решает принять яд, чтобы доказать истинность своих открытий...

А. Ф. Бритиков, автор книги «Русский советский научно-фантастический роман» (Л., 1970), высоко оценил «Страну Гонгури». Благоприятная критика появляется и в других изданиях и статьях: Е. Брандис и В. Дмитриевский «В мире фантастики и приключений» Л. 1963, Ю. Мостков, 1983. В. Ревич, 1985 и др. «Открытие Риэля» включено в обзоры научной фантастики на французском и испанском языках. В Абакане (Хакассия) длительное время существовал клуб любителей фантастики под названием «Страна Гонгури».

Из Канска В. А. Итин переезжает в Новониколаевск. Он отказался от «номенклатурных» должностей, связанных с его юридическим образованием, и до конца жизни связал свою судьбу с журналом «Сибирские огни» и с писательской организацией Западной Сибири. В 1923 году «Сибирские огни» печатают, наряду со стихотворениями и рецензиями, антивоенную повесть отца «Урамбо». Стихи выходят также отдельным сборником «Солнце сердца» (Новониколаевск, 1923).

Вивиана Азарьевича считали собирателем литературных сил Сибири. Под его редакцией вышел поэтический сборник «Вьюжные дни» (Новониколаевск, 1925). В этот сборник, наряду с другими авторами, включены стихи молодого поэта Леонида Мартынова, который считал отца

одним из своих учителей и очень тепло отзывался о нем. В сборнике «День поэзии» за 1963 год Л. Н. Мартынов писал: «...час воскрешения Вивиана Итина, этого жестоко и бессмысленно погубленного в годы массовых репрессий поэта, настал. Пора по-настоящему воздать должное этому большому художнику слова... Вивиан Итин, прежде всего — поэт и даже вся его проза — это проза талантливого поэта, будь это даже полемические статьи по вопросам художественного творчества или по вопросам кораблевождения в полярных морях...» (стр. 260). «Полет поэта кончился трагически. Но осталась не горка праха, а книги... И все это полно страсти, полно мысли» (стр. 261).

Л. Н. Мартынов вспоминает отца и в других произведениях, например, в «Воздушных фрегатах» (М., 1974), «Чертах сходства» (М., 1982). Он посвятил ему стихи («Золотой запас», М., 1981):

У меня
Был друг Вивиан,
Он мечтою был обуян
Сделать этот мир восхитительным.
Я дружил с Вивианом Итиным...

Мне Леонид Николаевич рассказывал, что, приезжая из Омска по редакционным делам, он часто останавливался в нашем маленьком домике по ул. Горького, 48 в Новосибирске. Так как по тем трудным временам мама не всегда была рада постояльцам, Леонид залезал к отцу в комнату через окно. Похожая ситуация описана Вивианом Азарьевичем в «Стране будущего» (Сибирские огни, 1929, №1), где Тимофей влезает в окно к капитану Шимкову.

Об отце написали воспоминания и другие сибирские писатели — А. Л. Коптелов, Е. Н. Пермитин. В «Поэме о лесах» Е. Н. Пермитин рассказывает о литературных кружках для начинающих писателей Сибири, которыми руководили В. Я. Зазубрин и В. А. Итин. Он даже записал определение искусства, которое дал Вивиан Азарьевич на одном из занятий: «Искусство не есть наслаждение, утешение или

забава: искусство — орган жизни человечества, переводящий разумное сознание людей в чувство» (Роман-газета, 1970, № 19, стр. 41).

Е. Н. Пермитин очень красочно представил выступление В. А. Итина о сибирских поэтах: «Как и Зазубрин, Итин был тоже в черном, но не в обычном костюме, а в отлично сшитом смокинге, в белоснежной крахмальной манишке с высоким, подпиравшим шею воротником, с широкими манжетами и сверкающими в них золотыми запонками. Среднего роста, тонкий, стройный, тщательно выбритый и гладко причесанный на английский манер.

У него большие темные, в густых ресницах, скорбные глаза. Тонкое, умное лицо его всегда сосредоточенно. Итин редко улыбается и улыбается только одними губами, но и во время улыбки лицо его остается задумчиво-грустным, погруженным в самого себя, занятым какой-то одной мучительно-неразрешимой мыслью.

Лидия Сейфуллина прозвала его Спящим царевичем. Но теперь в своем смокинге он выглядел несколько иным, чуточку торжественным и даже взволнованным...» (стр. 42-43).

Хотя Е. Н. Пермитин и описал отца, как «аристократа», жили мы предельно скромно. Правда, сохранилась студенческая фотография Вивиана в смокинге. В домике на ул. Горького (одноэтажном, деревянном) у отца была маленькая отдельная комнатка с самым необходимым: письменным столом, полкой с книгами, узкой железной кроватью.

Дома, как у всех поэтов...
В кухне — диспут о пережаренных котлетах,
За стенкой — о модных шляпках.

Так в стихотворении «Теперь» отец характеризовал быт. Быт был не только скудным, но и жестоким. Двоих детей похоронили мои родители до моего рождения. Горе отца — в поэме «Похороны моей девочки»:

Она как будто бы летит.
Остались глазки не закрыты,
Застывший вдруг метеорит
Сдавили синие орбиты.

И так всевидящ этот взгляд
И так зовет к себе за грани...
— О, не вернется жизнь назад,
Конец последний не обманет!

А рядом с нами дикари
Едят кутью, не плача воют...
Как странно голова горит,
Какая пустота порою...

Но жизнь шла и была полна событиями, на которые отец живо откликался. Развитие науки и техники, первые полеты на самолетах. Первый в Сибири гражданский самолет «Сибревком» вел пилот Иеске. Вивиан Азарьевич летит с ним. На севере Ачинского округа — неисправность и посадка в тайге. Алтайцы называли самолет «Каан-Кэрэдэ», по имени волшебной птицы, которая в их сказаниях переносила людей из долины в долину через горы. Романтике этой встречи прошлого и настоящего посвящена повесть «Каан-Кэрэде», впервые напечатанная в «Сибирских огнях» в 1926 году. В 1928 году, по сценарию, написанному автором, был снят фильм на ту же тему. Летчикам посвящен рассказ «Люди» (1927). В 1961 году «Каан-Кэрэде» вышла отдельной книгой.

В 1926 году, на первом съезде сибирских писателей, В. А. Итина выбирают секретарем правления, в 1934 году — ответственным редактором «Сибирских огней» и председателем правления Западно-Сибирского объединения писателей, а также делегатом первого Всесоюзного съезда писателей. Дважды В. А. Итину присуждают краевую литературную премию им. Горького.

В 1927 году отец с Л. Н. Мартыновым посетили Ленинград. Со слов Леонида Николаевича мне известно, что они

были у «Серапионовых братьев»* и у Л. Сейфуллиной. Эту поездку описал В. Утков, также по рассказу Леонида Николаевича (Звезда, 1987, № 9, стр. 180-182).

Несмотря на большую общественную работу в Союзе писателей, В. А. Итин вплотную занимается проблемами Северного морского пути и сотрудничает с организацией «Комсеверпуть». Летом 1926 года Вивиан Азарьевич участвовал в гидрографической экспедиции по исследованию Гыданского залива, в 1929 году — в Карской экспедиции.

В 1931 году В. А. Итин выступил с докладом «Северный морской путь» на Первом Восточно-Сибирском научно-исследовательском съезде в Иркутске. Там же докладывал академик А. Е. Ферсман. В. А. Итин писал: «Его прекрасный и строго научный доклад “О некоторых свойствах кислых магм” потом долго называли “геохимической поэмой” в пику нашим литературоведам к критикам. Это действительно была поэма, если брать столь избитое сравнение, потому что, как поэт заставляет видеть гораздо больше того, что выражено словами, так и речь академика, на специальную и не легкую для ясного понимания тему, заставляла видеть дальше слов и дальше диаграмм» (Сб. «Страна Гонгури», 1983, стр. 301).

На этом съезде Вивиан Азарьевич получил приглашение от управляющего Якутским отделением Комсеверпути Лежава-Мюрата принять участие в предстоящем колымском рейсе. Он пошел в этот рейс на «Лейтенанте Шмидте» с капитанами Миловзоровым и Сергиевским. «Лейтенант Шмидт» достиг устья Колымы и там зазимовал, а Вивиан Азарьевич возвратился в Новосибирск сухопутным путем, передвигаясь на собаках и оленях.

По материалам северных путешествий отец написал ряд книг: «Восточный вариант», «Морские пути Советской Арктики», «Колебания ледовитости Арктических морей

* «Серапионовы братья» — литературная группа (1921-1929); в нее входили Вс. В. Иванов, М. М. Зощенко, Л. Н. Лунц, В. А. Каверин, К. А. Федин, Н. С. Тихонов, М. Л. Слонимский и др.

СССР», «Выход к морю» и др. Очерки о путешествиях снабжены историческими справками. В них не только портреты мужественных капитанов (В. И. Воронина, Н. И. Евгенова и др.), путешественника на велосипеде по арктической тундре — Глеба Травина, летчика Б. Г. Чухновского и других интересных людей той эпохи, но и исследуются экономика, география, этнография региона, приводятся экономические обоснования необходимости подобных рейсов (тогда еще надо было доказывать выгоду доставки грузов Северным морским путем, а не строительства железной дороги в зоне вечной мерзлоты).

Все это требовало широких, обстоятельных знаний, которые отец приобретал путем самообразования, поднимаясь до уровня подлинного ученого, что и отмечено в профессиональном очерке доктора географических наук С. Д. Лаппо, профессора МГУ, который сам много путешествовал, в том числе с известным полярником И. Д. Папаниным, и был знаком с В. А. Итиным по работе в Комсеверпути.

Отец также познакомился с И. Д. Папаниным в одном из своих путешествий. Вивиан Азарьевич был в меховых оленьих сапогах и топтался нерешительно на борту — причала не было. Под ногами была вода. Коренастый человек предложил прокатиться на его спине. Отец не отказался. На берегу познакомились — оказалось, что это И. Д. Папанин.

На ледоколе «Красин» Вивиан Азарьевич оказался на койке, на которой ранее спал Мариано, один из участников экспедиции Нобиле, спасенный вместе с Цаппи моряками ледокола «Красин». Под впечатлением рассказов моряков отец написал повесть «Белый кит». В этой повести обобщен опыт разных полярных экспедиций: его герой Нордаль — синтез образов великих исследователей севера: Норденшельда, Амундсена и Нансена. Печонкин же объединяет черты отрицательных персонажей: Цаппи, матроса Кондрата со «Святой Анны». Вместе с тем в книге участвует и вполне реальный капитан В. И. Воронин, что сближает повесть с очерком.

Впечатления от путешествий отразились и в стихах:

Нансен — норвежец — Норильские горы...
Музыку севера вспенил форштевень.
Мы не разбойники-конквистадоры,
Мы моряки с парохода «Ленин».

С севера отец всегда возвращался в хорошем настроении, полный впечатлений и замыслов. Много рассказывал о быте северных народов, привозил их изделия из клыков моржей и оленьих шкур. Возможно, некоторые впечатления он не рассказывал при детях. В местах его путешествий лагеря ГУЛАГа росли, как грибы...

Известность. Интересная работа. Была ли жизнь безоблачной? Увы, далеко нет. Мне рассказывала писательница Н. В. Чертова, в то время возглавлявшая партийную писательскую организацию в Новосибирске, как отец просил ее записать подробно некоторые его биографические данные перед партийной чисткой 1929 года. Как она сказала, все было записано добросовестно, чистка прошла благополучно. Но только ли это? Недружелюбная критика, часто отсутствие взаимопонимания, такта, борьба литературных течений, скрывающая борьбу за власть...

Все это отражают страницы журнала «Сибирские огни». В письме к А. М. Горькому звучат печальные слова о помехах в работе: «...Зависть, бюрократизм, глупость были, есть и не скоро переведутся. Литература всегда была ненавистна. Она причиняет беспокойство».

Отец был независимым и гордым человеком. Он много читал, интересы его были разнообразны, но ничем он не занимался поверхностно.

Насколько мне известно, последний раз отец был на родине, в Уфе, когда умер А. А. Итин, в 1926 году. Собрались и сфотографировались с матерью все дети и их двоюродный брат — А. И. Глазырин, сын Алевтины Ивановны. А. И. Глазырин в молодые годы был очень похож на Вивиана. Сходны были и их способности, и некоторые черты характера. Оба хорошо рисовали. Александр Иванович, по профессии физик, к концу жизни написал научно-фантастический роман, который остался неопубликованным. В очер-

ке «Драгоценные секунды» (Сибирские огни, 1936, №1) отец упоминает о неожиданной встрече с Александром Ивановичем в Омске, во время полного солнечного затмения в 1936 году.

Мать отца, Зинаида Ивановна, до конца жизни прожила в своем доме в Уфе, в одной из комнат. Остальной дом она добровольно сдала местным властям.

Путешествуя по Сибири, Вивиан Азарьевич видел, как много там репрессированных. В некоторых своих произведениях он бросал фразу-другую об этих наблюдениях, как бы пытаясь обратить внимание на эти печальные факты. В то время большинство людей еще ничего не знали о массовых арестах.

В 1933 году в «Сибирских огнях» (№ 1-2) опубликованы «Ананасы под березой». Там приводится фрагмент из жизни колчаковского Омска. Поэты в кафе читают стихи:

Большое гала-представленье!
Веселый час последних лет.
Бросают люстры желтый свет
На пестро-мрачное виденье.
Оркестром правит Люцифер
И тихо льются звуки сфер...
Театр огромен, словно думы
Под сводом облака легли...
О, рано плакать, серафимы!
К вам долетели сны Земли?
Смотрите! Вот взвились завесы, —
Сам бог великий — автор Пьесы!
Шуты украли образ бога
И странно озарен им ад.
Марионетки! Как их много!
Идут вперед, идут назад...
По приказанью некой вещи —
То знаменитый режиссер,
Парящий в бездне дух зловещий,
Из бездн кидающий свой бросает взор.
Как кондор в глубь скалистых трещин,
Как меч огня в пустую твердь —
Невидимая Смерть!

Вам не забыть, о, серафимы,
Рукоплескатели, рабы,
Надежд и ужасов толпы,
Где люди, призраком томимы,
За ним бегут всегда, всегда,
Стараясь победить друг друга,
Но заколдованного круга
Им не избегнуть никогда!
И вечно тот же гнет арены,
Мельканье тех же скучных вех...
Здесь все — безумие и грех,
И страх — душа проклятой сцены!
Но вот средь сборища шутов,
Исчадь мутных злобных снов,
Встает кроваво-красный зверь.
Шуты безумствуют теперь,
Изнемогая от тоски,
И ненасытные клыки,
Как молния, все вновь и вновь
Впиваются в людскую кровь.

Стихи в тексте даны, как перевод из Эдгара По (The Conqueror Worm). Однако их содержание лишь слабо напоминает По — перед нами предстает отчетливая картина сталинской эпохи. Этот мотив повторен и в стихотворении «Скованный Прометей», которое опубликовано в 1937 году (!).

Я только раб тирана олимпийца,
Прикованный к скале кавказских гор,
И мой палач — пернатый кровопийца,
Опять на мне покоит хищный взор...

Вивиан Азарьевич был очень популярен в 30-е годы. Все знали, что его поддерживает А. М. Горький. Эта ситуация позволяла печатать в «Сибирских огнях» кое-какие «вольности». Московские цензоры были бдительнее.

В 1937 году была написана пьеса «Козел». Новосибирский театр «Красный факел» принял пьесу к постановке. Но для постановки требовалось разрешение могущественного

Реперткома. Репертком пьесу не пропустил, и она так и осталась неопубликованной.

К счастью, копия пьесы сохранилась в Москве, в Центральном Государственном литературном архиве — ЦГАЛИ, вместе с ответным письмом В. А. Итина.

Некоторые места в произведениях Вивиана Азаревича казались московским цензорам опасными и после смерти Сталина, и после восстановления В. А. Итина, посмертно, в правах члена Союза писателей.

Так, в 1966 году я получила письмо из Секретариата правления СП СССР за подписью С. А. Ляндреса с предложением составить сборник произведений отца и направить его в издательство «Советский писатель». Я подготовила сборник и... получила из издательства отказ. Ряд мест в рукописи был подчеркнут рецензентом. За это время С. А. Ляндрес (сам переживший тюрьму и ссылку) уже умер. Книгу удалось издать только в 1983 году в Новосибирске в сокращенном варианте (Сб. «Страна Гонгури», Новосибирск, 1983).

Как я узнала много позже, к тому времени в Германии вышло 2 издания «Открытие Риэля» (1980, 1981). Это были сборники научной фантастики, с произведениями русских классиков, включая повесть В. А. Итина. Всеволод Ревич, который составил сборник, всю книгу назвал «Открытие Риэля».

У отца в доме часто бывал В. Д. Вегман, большевик с до-революционным стажем, свой человек среди видных деятелей партии. Он поражал мое детское воображение своей марксовой бородой и трубочкой в горле, через которую он дышал. Помню поход к семье писателя М. И. Ошарова после ареста Вегмана, разговоры о его гибели по пути в Москву — понимая безнадежность своего положения, Вегман вынул из горла свою серебряную трубочку.

За несколько дней до ареста отца я зашла, как обычно, в его кабинет. Он лежал на своей узкой железной кровати и смотрел на крышку коробки с папиросами «Казбек». Там была нарисована азбука перестукивания в тюрьме. Совершенно неожиданно для меня отец начал рассуждать вслух:

«Я бы к ним не присоединился, если бы они не дали все права евреям...».

Это не было понятно девочке в 11 лет, но, я думаю, отец рассчитывал, что я запомню.

Вивиан Азарьевич Итин был арестован 29 апреля 1938 года, обвинен в шпионаже в пользу Японии (что было полным абсурдом) и расстрелян 22 октября 1938 года в Новосибирске. После его реабилитации в 1956 г. я получила два свидетельства о его смерти: одно за 1945 год, другое — за 1938. Поэтому в печати можно встретить обе даты.

В. А. Итин был талантливым, образованным, честным, смелым и сильным человеком. Он просто попал под колесо истории, как и многие другие интеллигентные люди его времени. Погиб в 44 года. Так много еще мог написать....

«Только убив самого художника, — читаем мы в Стране Гонгури, — мы навсегда убьем его творчество. Храм, разрушенный варварами, все еще живет в душе порабощенного народа, храм, разрушенный в душе художника, — погиб навеки».

Примечания

Публикуемые в книге тексты приведены по первым изданиям с исправлением незначительного количества устаревших особенностей орфографии и пунктуации.

Каан-Кэрэдэ

Впервые: *Сибирские огни*, 1926, № 1-2, январь-апрель.

Подробнее о биографических обстоятельствах, связанных с этой повестью, см. в приведенном ниже очерке Л. Итиной «Поэт, писатель, путешественник». Повесть вызвала неодобрительный отзыв М. Горького (письмо В. Итину, декабрь 1927):

“Каан-Кэрэдэ» — очерк, который Вам не удалось сделать рассказом. На мой взгляд — книга Михельса “От Кремлевской стены до Китайской” лучше “Каан-Кэрэдэ” и “Высокого пути”, потому что — проще. У Вас слишком чувствуется напряжение писать “красиво”. “Содержание” от этого проигрывает. К вещам и людям Вы подходите “описательно”, а не “изобразительно”, а еще никогда раньше вещи и люди не требовали с такой настойчивостью и с таким правом именно “изобразительности”. Ведь вещи изменяются сообразно с изменением человека к ним. Картина “камлания” не ярка, фигура шамана — тоже. А — подумайте, — какая это прекрасная тема: столкновение дикаря-колдуна с чудом техники, с фактом победы разума.

В 1928 г. в «Сибирских огнях» (№ 4) был опубликован основанный на повести одноименный сценарий В. Итина; в сравнении с повестью, наиболее впечатляющие моменты были тщательно вычищены в угоду агитационной задаче. Любопытно отметить, что начальник германской кругосветной экспедиции получил здесь фамилию Эц, подобно одному из героев рассказа «Люди». В 1929 г., по мотивам повести и сценария, реж. В. Фейнберг поставил на ленинградской фабрике Совкино несохранившийся фильм «Каан-Кэрэдэ» (известен также как «Крылатый бог», «Жертвы крылатого бога»).

«Слава Небу...» — Не совсем точно цитируется (и переводится) стих. Э. По «Для Анни» (For Annie, 1849): «Thank Heaven! the crisis — / The danger is past, / And the lingering illness / Is over at last — / And the fever called “Living” / Is conquered at last».

Pardonnez moi — Простите? (*франц.*).

Люди

Впервые: *Сибирские огни*, 1927, № 4, июль-август. В тексте учтены необходимые правки, упомянутые В. Итиным в письме в редакцию журн. (см. ниже).

«Бреве» — Здесь: летное свидетельство, от *франц. brevet*.

Горголь — масло для авамоторов (*уст.*).

Приложение: От редакции

Впервые: *Сибирские огни*, 1927, № 6, ноябрь-декабрь.

Публикация рассказа «Люди» навлекла на В. Итина и «Сибирские огни» критический залп критика С. Родова, обвинившего автора и журнал в «сменовеховстве». Уже в № 5 журнала появилось «Письмо в редакцию», где автор отметил ряд допущенных при наборе текста ошибок (повторы и пропуски фраз, редакционные замечания, принятые за часть текста и т.д.). Как отметил в письме Итин, «эти искаженные места частично использованы небезызвестным сибирским критиком С. Родовым, и без того большим специалистом по части передержек и травли». В следующем номере «Сибирских огней» была опубликована приводимая нами отповедь, подписанная двумя членами редколлегии журнала. В 1928 г. В. Итин вновь вспомнил об этом эпизоде литературной войны в статье «Критика пронзительной критики» (*Сибирские огни*, 1928, № 3, май-июль):

Повесть «Каан-Кэрэдэ» была расхвалена в «Советской Сибири» после ее появления. В газете напечатана глава из нее (с порт-

ретом автора, с биографией — реклама!). Затем Родов в «Неделе» «Сов. Сибири» ухитрился обозвать повесть «сменовеховской». В дни разрыва с Англией «Сов. Сибирь» напечатала (в качестве агитационного материала) отрывок из рассказа «Люди» («Высокий Путь»), озаглавленный «Большевистская подготовка». Гонорар пошел на самолет «Советская Сибирь». По Родову же основной идеей рассказа является «сладенький пацифизм».

С. А. Родов (1893-1968) — советский поэт, литературный критик, переводчик. Один из организаторов лит. объединений «Кузница» и «Октябрь», в 1923-24 гг. ответственный секретарь МАПП, в 1923-25 годах — ответственный редактор журн. «На посту», член ВАПП. В 1926-27 гг. подвизался в Сибири, где занимался организацией литературы (СибАПП, будущая группа «Настоящее») и активно выступал с критич. статьями.

Л. Мартынов. Безумные корреспонденты

Впервые: *Арион*, 2005, № 4 (как часть публ. Г. Суховой-Мартыновой «Л. Мартынов. Стихи и воспоминания»).

Л. Н. Мартынов (1905-1980) — видный советский поэт, переводчик, мемуарист. Литературную карьеру начал в 1921 г. как журналист в омских газетах; первой книгой стали очерки «Грубый корм» (1930). В 1932 г. в составе группы сибирских писателей был арестован по обвинению в контрреволюционной пропаганде, осужден на три года ссылки, которые провел в Вологде. В 1939 г. вышла первая поэтическая книга «Стихи и поэмы». В 1946 г. после газетной «проработки» лишился возможности публиковать стихи, долгое время зарабатывал переводами. С 1955 г. широко публиковался, в 1974 г. был награжден Государственной премией СССР.

«Провинциальный бульвар» — «Крамольное» стих. Мартынова, опубл. в 1922 г. в № 5 «Сибирских огней»:

Провинциальный бульвар. Извозчики балагурят,
Люди проходят, восстав от сна.
Так и бывает: проходят бури
И наступает тишина.

Что из того, что так недавно
Стыли на стенах кровь и мозг! —

Ведь толстые люди движутся плавно
Через бульвар, где истлел киоск.

Что из того, что разрушенных зданий
Ясные бреши — на восток! —
Кончились, кончились дни восстаний
Членовредительства и тревог!

И только один, о небывалом
Крича, в истрепанных башмаках
Мечется бедный поэт по вокзалам,
Свой чемоданчик мотая в руках.

«Настоящее» — журнал под руководством А. Курса (1928-нач. 1930), стоявший на напостовско-ЛЕФовских позициях; был закрыт после постановления ЦК ВКП (б) от 25 дек. 1929 г. за нападки на «великого революционного писателя тов. Горького».

«Нансен. Норвежцы...» — Цитируется (с некоторыми искажениями) вариант стих. В. Итина «В чуме» (1930).

«Сердце стучало...» — Цитируется (с искажениями) небольшое стихотворение В. Итина, включенное в «Спасение Печонкина» (*Сибирские огни*, 1928, № 6). Приводим его целиком:

Мы бросили якорь.
Моторы работали.
Ветер наваливался, как медведь.
Так же, как в дни Себастьяна Кабота,
Можно воскреснуть и умереть.
Рифы.
Пробоина.
Рыжие скалы.
— Ветры, делайте вашу игру!
Белые зубы злобно оскалил,
Пенной белухой,
блеснувший бурун.
Льдины.
Лагуны.

Лежа у лага,
Линию лайды на пеленг беря,
Помню я, помню!
(Черная влага
И малиновая заря).

Л. Итина. Поэт, писатель и путешественник

Впервые: *Вестник*, 2004, № 5 (342), 3 марта (<http://www.vestnik.com/issues/2004/0303/win/itina.htm>).

Л. В. Итина (р. 1926) — выпускница биологического факультета Ленинградского университета, доктор биологических наук. Более 30 лет работала в Институте физиологии АН БССР в Минске. С 1995 г. живет в США.

«Милая Лери!...» — Это примечательное письмо цитируется здесь с некоторыми сокращениями и искажениями. Приводим его по кн. В. Итина «Сибирские повести» (Минск, 2012). Читатель, несомненно, заметит в данном письме ряд мотивов, отраженных в повести «Страна Гонгури»:

16. 3. 918

Милая Лери —

Я не помню, когда мы виделись в последний раз. У Вас были очень далекие глаза и почему-то печальные и это казалось мне странным, так как юноши не верят Шопенгауэру, что счастья не бывает. Сегодня Екатерина Александровна сказала мне, что Вы больны, опасно больны и волны ее беспокойства передалась мне и не утихают, как волны неаполитанской баркароллы в моем сознании и в Вашем. Екатерина Александровна сама такая бледная, такая озабоченная сновидениями жизни или тем, что они по необходимости преходящи, что стала совсем пассивной и утомленной, словно мир навсегда замкнулся красным, раздражающим коридором грязноватого отеля. Я спокоен, моя воля пламенеет больше, чем когда-либо, потому что я мало думаю о настоящей жизни, но я не знаю, как мне передать мое настроение. Будем выше. Ах, еще выше!

Я живу в прекрасном доме, среди сети переулков. Шестой этаж, дали полей, чистота, свет, тишина. Мы все любим большой покой и большие бури. Сейчас я культивирую то, что можно вспомнить только из Сыкун-Ту. Когда я бываю в Третьяковской галерее, я всегда открываю что-нибудь новое, никем незамеченное, но такое, после чего невозможно и скучно смотреть на другие картины.

*Взор, ненасытный словно дух.
Тоску невероятных обладаний.*

В Комиссариате всякие дразги. В той Австралии, о которой мы так недавно мечтали, есть какие-то удивительные муравьи. Если разрезать насекомое на две части, то обе половинки начинают яростно сражаться друг с другом; так повторяется каждый раз, в течение получаса. Потом наступает смерть. Весь мир походит сейчас на такого муравья. Я страдаю только от одного.

.....

Где бы мне найти друзей воодушевленных, одиноких или хотя бы только жадных, презирающих гнусное равенство! Что теперь говорят про людей? N — комиссар, X — большевик, Z — контр.революционер. Это все; пусто.

Меня окружает скука. Впрочем, я не скучаю.

Я надеюсь, Вы скоро поправитесь и вернетесь, и мы будем встречаться. Целую Вашу руку.

Виван».

«Большое гала-представленье!» — В исходном тексте стих. цитировалось с искажением и пропуском слов; дано по первой публикации: *Сибирские огни*, 1933, № 1-2, январь-февраль, как часть главы «Ананасы под березой» из незавершенного (?) романа «Конец страха».

Оглавление

| | |
|---|-----|
| Каан-Кэрэдэ | 5 |
| Люди | 109 |
| <i>Приложение. От редакции</i> | 136 |
| <i>Л. Мартынов. Безумные корреспонденты</i> | 142 |
| Л. Итина. Поэт, писатель и путешественник | 154 |
| Примечания | 175 |

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.